

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2015 * Том 14 * № 2

**RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW**

2015 * Volume 14 * Issue 2

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2015
Том 14. № 2

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Петровка, д. 12, оф. 402, Москва 107031

Тел.: +7-(495)-621-36-59

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольбурга, Дания)

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2015
Volume 14. Issue 2

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Petrovka str., 12, Room 402, Moscow, Russian Federation 107031 Phone: +7-(495)-621-36-59

Editorial Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Deputy Editor
Marina Pugacheva

Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Andrei Korbut

Internet-Editor
Nail Farkhatdinov

Copy Editors
Karine Schadilova
Perry Franz

Russian Proofreader
Inna Krol

Layout Designer
Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)
Victor Vakhshayn (RANEPA, Russian Federation)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Arendt on Positive Freedom 9
Alexei Gloukhov
- Первая «Лекция по политическому праву» Х. Доносо Кортеса 23
Юрий Василенко
- Лекции по политическому праву, прочитанные в Мадридском Атенео.
Лекция первая (22 ноября 1836 г.): Об обществе и правительстве 31
Хуан Доносо Кортес

СТАТЬИ

- Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий
последних десятилетий социализма 41
Ирина Каспэ
- The Landscape of a Religious Workspace: The Case of a Russian Christian
Orthodox Sisterhood 70
Ksenia Medvedeva

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

- Вариация на тему политической теологии: «Книга бытия украинского
народа» 82
Андрей Тесля

ОБЗОРЫ

- Индивидуальное и структурное в социальной мобильности в контексте
индивидуализации: обзор эмпирических исследований 107
Полина Ерофеева

РЕЦЕНЗИИ

- Очередной шаг на пути к академизации социологии спорта 151
Олег Кильдюшов
- Путешествие из Петербурга в Москву. 222 года спустя 159
Тамара Кузнецова

Наблюдать и участвовать: биография главного русского славянофила	169
<i>Мария Юрлова</i>	
Немецкая энциклопедия инвайронментализма	177
<i>Александр Куракин</i>	

Contents

POLITICAL PHILOSOPHY

- Arendt on Positive Freedom 9
Alexei Gloukhov
- The First “Lecture on Political Law” by J. Donoso Cortés 23
Yuri Vasilenko
- Lectures on Political Right, Delivered at the Ateneo of Madrid. Lecture 1
(November 22, 1836): On Society and Government 31
Juan Donoso Cortés

ARTICLES

- The Skill of Utopian Vision: Photojournalism in the Last Soviet Decades 41
Irina Kaspe
- The Landscape of a Religious Workspace: The Case of a Russian Christian
Orthodox Sisterhood 70
Ksenia Medvedeva

RUSSIAN ATLANTIS

- Variation on a Theme of Political Theology: “The Book of the Genesis of the
Ukrainian People” 82
Andrey Teslya

REVIEWS

- Agency and Structure in Social Mobility in the Light of Individualization:
Empirical Research Review 107
Polina Erofeeva

BOOK REVIEWS

- Another Step toward Academization of the Sociology of Sport 151
Oleg Kildyushov
- Journey from St. Petersburg to Moscow. 222 years Later 159
Tamara Kuznetsova

Observe and Participate: The Biography of Leading Russian Slavophile	169
<i>Maria Yurlova</i>	
German Encyclopedia of Environmentalism	177
<i>Alexander Kurakin</i>	

Arendt on Positive Freedom*

Alexei Gloukhov

Associate Professor, School of Philosophy, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnikskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: alexeigloukhov@gmail.com

Hannah Arendt's concept of freedom is exceptional in contemporary political theory. First, it is positive, which puts it into opposition to the both current versions of its negative counterpart, the liberal (Isaiah Berlin), and the republican (Quentin Skinner, Philip Pettit) concepts of freedom. In particular, a comparison between Arendt's and Pettit's approaches allows establishing some striking points of antagonistic logical mirroring. Based on this, the notion of "schools of thought" is introduced, which plays an essential role in the subsequent discussion of Arendtian realism. Second, although Arendt's theory of freedom shares features that are common to the major continental thinkers, like Martin Heidegger, Gilles Deleuze, or Alain Badiou, her solution to the problem of freedom aligns her closer to the liberals. Third, I argue that one should consider this logical irregularity as evidence in favor of her political realism, rather than a trivial inconsistency. This realism is the genuinely exceptional part of her legacy, which may guide us eventually, with modifications applied, to a paradigm shift in the current political philosophy. Finally, I present an evaluation of her solution to the problem of freedom, and a brief follow-up to some seemingly-out-of-place Arendtian notions, such as "excellence" and "elite." Although in the final analysis, her solution seems to be artificial, it opens up a new promising area of research related to the notion of "benevolent excellence."

Keywords: Hannah Arendt, freedom, liberty, justice, virtue, excellence, elite

The originality of Arendt's views on freedom

Arendt's position on freedom is exceptional. Luckily, the reasons for its separateness seem rather trivial to explain. A quasi-standard account of the state of affairs in the contemporary theory of freedom has been established, having been crystallized after Isaiah Berlin's seminal lecture "Two Concepts of Liberty" (1958) (Berlin, Harris, 2002). According to this, there are two concepts of liberty that have manifested throughout Western history, the negative and the positive. Berlin himself was an adherent of the negative concept, defining freedom negatively as *non-interference*. Moreover, he demanded that liberal political philosophy should refrain from using or appealing to a positive concept of freedom. One cannot say that he did not succeed in convincing his peers. Since then,

© Gloukhov A., 2015

© Centre for Fundamental Sociology, 2015

* This study (research grant No 15-01-0037) was supported by The National Research University Higher School of Economics' Academic Fund Program in 2015–2016. An earlier version of this paper was presented in the Hannah Arendt Center for Politics and the Humanities in Bard College.

in the English-speaking political philosophy, few scholars¹ has proposed a positive concept. It has come to the point where some theorists began to doubt the very existence of an alternative to the negative understanding of freedom, arguing that a single concept of liberty, i.e., the negative, was more than sufficient (see: MacCallum, 1967; Nelson, 2005). This development was obviously against Berlin's original intention; for him, the positive concept of liberty was not only real, it was the gravest danger for humanity. Berlin believed that the positive concept, which he associated with the notion of self-mastery, was the foundation of the totalitarian ideology and therefore responsible for the most terrible crimes of our times. For him, negligence of positive liberty would be unthinkable; in a sense it would amount to suppression of the most significant lessons which the political experience of the 20th century ought to teach following generations.

Before we go to Arendt's position, another recent development unforeseen by Berlin is worth noticing. It is the unexpected rise of competition to the negative side of the liberty spectrum. Berlin thought that there is a place for only one negative concept of liberty (the liberal one), where freedom is defined as non-interference. However in the 1980–90's, the so-called "neo-Roman" or "republican" political theory was developed, mostly by Quentin Skinner and Philip Pettit, who defined freedom negatively; unlike liberals, the republicans employed a different sort of negation, that of *non-domination* (see e.g.: Pettit, 2002; Skinner in: Miller, 2006). Practically, it means that republican freedom is highly normative and tolerates no arbitrariness of decisions whatsoever, while Berlin argued that liberal freedom is compatible with monarchy, at least in theory. Anticipating what follows below, Pettit's more radical views are particularly noteworthy, since, as he proposes, republicanism is a genuine alternative to a positive conception of freedom (Pettit, 2011: 716). At the same time, he tried to prove² that the principle of non-domination has priority over the principle of non-interference as the only negative definition of freedom. Against this backdrop, it is obvious that any position supporting a positive concept of freedom inevitably stands out. Therefore, Arendt's stance is clearly exceptional after she openly embraced the positive nature of freedom. However, this picture is oversimplified.

At this point, I need to introduce the auxiliary notion of "school of thought." It is a broad term, and I do not intend to change its meaning dramatically; nevertheless, the notion may prove to be necessary for my argument. Additionally, I ought to add a few words on dogmatism. Arendt loved imaginary conversations between a skeptic, a dogmatic, and a critic. She always sided with the critic (see e.g.: Arendt, 1982: 32). Nothing less would have been expected since her favorite philosopher was Immanuel Kant, who introduced the word "critique" into philosophy. However, a constant loyalty to the critical school of thought may in turn give rise to a new form of dogmatism utterly hard to discern, since it does not concern established views, but the established ways of forming the views. It is important to recognize the extent to which Arendt was indebted to her

1. With rare notable exceptions such as Charles Taylor, see his paper in: Miller, 2006, and obviously Hannah Arendt. See also: Christman, 2005.

2. Unconvincingly, as I intend to demonstrate in a forthcoming paper.

own school of thought — being a “dogmatic” in this sense — since this may be the only theoretically sound way to show the genuine originality of her views on freedom.

As mentioned before, almost every other scholar in English-speaking political philosophy preferred to work with some negative concept of liberty, so Arendt’s 1961 book published in English, containing her essay on freedom was unmistakably a rare species. Now, if we turn to continental parts of the Old World in the search for other tongues, the picture changes drastically. A few names are more than enough to mention here, those of Martin Heidegger, Gilles Deleuze, and Alain Badiou. These German and French philosophers might have different views on many matters, but they all (as well as Arendt) belong to the same school of thought which is sometimes called “continental philosophy.” Against this backdrop, some of Arendt’s most radical theses on freedom no longer show much originality. For example, consider her view of freedom as a “miracle,” i.e., a unique and short-living event in history; similar ideas do not come as a surprise to anyone versatile in Heidegger or Badiou (Heidegger, 2002, 2012; Badiou, 2006).

Once a certain level of dogmatism of this kind is recognizable in Arendt’s legacy, one can explain how two almost opposite theories — that of Arendt and that of Pettit — emerged, seemingly based on the same historical material of Ancient Rome. The explanation is simple. The same historical material was subjected to two different methods of interpretation, and resulted in two different schools of thought. It may serve as an important marker that whenever Pettit and Arendt happen to say completely opposite things about freedom, it is the case of scholarly dogmatism speaking on both sides rather than original political observations. Below, I will trace some anti-parallels between both thinkers, i.e., the points where Pettit and Arendt think inversely.

Arendt was one of very few political realists of the 20th century. Still, her thoughts contained dogmatic elements inherent to the entire philosophical tradition from which she came. This theoretical legacy allowed Arendt to say much more about positive freedom than it was ever possible to say from within the analytical framework. However, the same legacy might have blinded her vision of political reality, as it often obviously did to other representatives of the same school, beginning with Martin Heidegger.

Now we are a step closer to understanding why Arendt’s position on freedom is unique. The key notion is realism. As mentioned before, unlike many other representatives of the same school of thought, Arendt was a political realist. But what does this mean? She might have used the same patterns of thought as Heidegger, or Deleuze, or Badiou; however she was always keen to focus on the real political problems. Moreover, where necessary, she was ready to embrace “alien” ways of thinking rather than lose her grip on the issues. In the end, Arendt’s position on freedom was exceptional in comparison not only to the analytical tradition, but also to her own continental school of thought. For the sake of realism, she did not hesitate to break with the same traditions that nourished her.³

3. This consideration suggests a corresponding way of understanding the famous opening of her book: “Our inheritance was left to us by no testament” (Arendt, 1961: 3).

The essay "What is Freedom?"

Arendt presented two outstanding accounts of positive freedom.⁴ The first is her essay "What is Freedom?" (Arendt, 1961), and the other is her book *On Revolution* (1963) (Arendt, 2006). The essay is more abstract and theoretical. Here, the term 'positive freedom' was still employed as a synonym for the freedom of productivity, a Marxist notion. Her own concept of freedom turned out to be different. Her term of choice was "political," not positive or productive freedom. She began with the thesis that freedom is "the *raison d'être* of politics" (Arendt, 1961: 146). It was an intentional break with the liberal tradition in the vein of Berlin that always regarded politics as a threat to freedom. Arendt urged her readers to view political life as the true foundation of human freedom. Politics is not only dangerous; it is also a salvation, a unique chance for freedom to appear in the world. Again, a paradoxical argument like this, which is not acceptable in the analytical tradition, is a common feature within her school of thought. In fact, it is a loose variation of Hölderlin's verse "*Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch*" (from "Patmos"), favored by Heidegger.

Unlike liberal tradition, Arendt's political freedom is a "demonstrable fact." Not only does political freedom become obvious, but it also shines most brightly within the public realm. With politics being its necessary condition, freedom appears only when together with other people. The public realm provides a space where people may *excel* though their words and deeds in the expression of freedom.

Surprisingly, at this point Arendt digresses from this general course of her argument to almost marginal remarks on "excellence;" this is how, as she cares to register, she translates the key Machiavellian notion of *virtue* (Arendt, 1961: 153). The reference to the dubious legacy of the Florentine is even more remarkable, as Arendt almost immediately distances herself from it by noting that the meaning of *virtù* as human excellence is best rendered by the term "virtuosity." With that, her discourse gets back on the track; clearly the shift from "excellence" to *virtù* then to "virtuosity" is not a harmless conceptual substitution. However, the question is rather why Arendt began her exposition of positive freedom by starting from the dangerous term *virtù* or "excellence," and not directly from "virtuosity" in the first place. The fact that this detour was not accidental becomes evident in the final chapter of her book *On Revolution*, where the theme of "excellence" resurfaces through the keyword "*élite*" (Arendt, 2006: 275). It seems as if Arendt intentionally rejects the easier way to present her views on positive freedom in favor of introducing some dubious, compromised, and problematic issues. In such cases, one can spot elements of her mental discipline that helped her to stay in touch with political realism.⁵

4. Analytical philosophy approaches positive liberty only to criticize it. Therefore, the term itself, by being born within this school of thought, might be misleading. Since positive liberty is obscure for this tradition, this concept falls into dependency on its negative counterpart, behind which a tangible historical legacy can always be found. In a different philosophical language, more appropriate terms can take the place of "positive freedom." Arendt offered a variety of metaphors.

5. There is something unmistakably Platonic about endless detours resisting the easier way. It is not the right place to give sufficient proof, but I argue elsewhere that contrary to Arendt's declarative animosity

In the same essay on freedom, Arendt shifts with ease from *virtù* to “virtuosity.” Her list of virtuosic actions, which may take readers by surprise, includes flute playing and dancing, among other things. In the performing arts, political freedom shows itself. She insists that this is not the freedom of artistic creativity, because through the act of creation the work of art is separated from the artist whose creative process may evolve even in isolation from everybody else. On the contrary, the performing freedom always requires some sort of audience and has no other end than performance itself. Its very existence is precarious, as it emerges tangentially to all objective facts and structural conditions. Any musician can play the same melody that can be written down as score. However, the score neither anticipates nor guarantees a virtuoso performance. At the same time, the score and the structural conditions prohibit virtuosic freedom from overcoming its pre-defined limits. In the terms of her later book, freedom in this scenario forms an “island” or an “oasis” in the political reality. This freedom is limited and does not threaten with aggressive expansion.

Virtuosity is only the first on the list of notions Arendt uses to expound her understanding of freedom. Thereafter, she introduces several other metaphors, such as “beginning” and “miracle.” The absence of one universal notion of freedom in her theory is sound within her school of thought, unlike within the counterpart tradition, where a single definition like *non-interference* or *non-domination* is required. Predictably, it is not always clear to what extent her discussion of one metaphor overlaps with that of another. The terms are connected, not directly but through shared opposition, to what is also represented through a set of notions like norm, necessity, security, and automatism. Those notions are part of a distinct train of thought which is identified by Arendt with liberal legacy. Today, this counter-tradition must also include the normative republican theory. The theories of Pettit and Arendt, for all that they are seemingly based on the same historical material of the Ancient Roman Republic, have nothing else in common.⁶ Moreover, one can even say that the two thinkers are engaged in an invisible intellectual dispute. Whereas Pettit aims at discovering and setting new norms and regularities, Arendt is preoccupied with the search for exceptions and anomalies.

At the end of her essay, Arendt defines freedom as an “infinite improbability,” and explains that the periods of freedom have been very short in the history of humanity. Ironically, after having begun her essay with the hope to restore freedom within political life, Arendt ends it almost by taking such a hope away. In quite a different fashion from the liberals, she still presses, albeit indirectly, her readership to the same conclusion that

against everything Platonic, she was a deeply Platonic thinker, the main common ground for both being the political realism.

6. The legacy of Ancient Greeks does not play any significant part in the republican theory, but it does so in Arendt's political theory. Some scholars suggest a distinction worth tracing between “neo-Romans” (Quentin Skinner, Philip Pettit) and “neo-Athenians” (Hannah Arendt et al.), see: Larmore, 2001. Though this may contain a valid point, it is not immediately relevant to my argument. Roman legacy was of paramount importance for Arendt no less so than for the republican theorists. Any differences between the two positions are more reasonably derived from some common source like contemporary philosophy than from two singular historical experiences, which would block subsequent attempts to draw a comparison.

political freedom has virtually no chance in real life. Her argument might be full of sympathy for political freedom, but since the phenomenon is so elusive, her conclusions can make someone desperate or indifferent towards liberty.

The points of logical mirroring, in comparison with its antipode of the normative republican theory, mark the most logically charged parts of her argument. Yet, as previously mentioned, Arendt is a political realist; the reality of freedom, as it is presented in her essay, consists of its problematic character. Freedom is a problem and *that* is the reality of political life. A miracle may never happen in our lifetime. Does it mean that we may cease thinking about freedom? The answer is no, since freedom is a problem in the first place. Arendt discovers a dangerous side of freedom and wants to confine it. Unlike the miracle of freedom that may be experienced only by the lucky ones, the danger of freedom concerns everybody. Suddenly, Arendt departs from the language of exception and embraces the language of normativity. She seems to change sides while reproducing the typical liberal argument about the perils of positive liberty that is made manifest through the sovereign will of the community. Following Rousseau, she defines sovereignty as indivisibility. The tyrannical unity of the general will threatens to eradicate the individualistic multiplicity of political reality. Benjamin Constant, John Stuart Mill, and Isaiah Berlin all warned of this.

Remarkably, Arendt applied the term “sovereign” not only to communities, but also to individuals. She did not explain what kind of danger is to be expected from the individual’s sovereignty. However, it is certain that this option was not suggested through any oversight. According to her interpretation of intellectual history, the sovereignty of the general will crowns the long series of teachings about free will that were concerned mostly with individuals. However, what does the sovereignty of individuals mean? If sovereignty is indivisibility, then the indivisibility of the individual is a tautology. Moreover, here it is appropriate to recollect Berlin’s account of positive liberty. It is the indivisibility of the self that saves humans from political peril, since it prevents misuses of the inner split between the real self and an ideal self, instrumental to the rise of totalitarian power. The problem of freedom, as Arendt puts it, consists in understanding “how freedom could have been given to men under the condition of non-sovereignty” (Arendt, 1961: 164). The formulation of this question anticipates its answer. Freedom is said to be given; therefore, it is not earned by men. This answer brings Arendt’s position closer to those liberals who believe that liberty must be maintained and protected by the state.⁷

The essay on freedom features several stories that do not present a coherent whole. One story is told about freedom as virtuosity that is a pure experience of political life. Another story is about freedom as *virtù*, translated as “excellence,” and might be more appropriately translated as “sovereignty,” since it is precisely the subject matter of Ma-

7. Judging from his reply in the conversation with Ramin Jahanbegloo, Berlin would be terrified by this conclusion: “You frighten me when you say that she [Arendt] is close to me” (Berlin, Jahanbegloo, 1991: 84). Earlier he admitted notoriously: “I do not greatly respect the lady’s ideas.” However, I disagree with Seyla Benhabib, that it was a “gender stereotyping” on the part of Berlin (Benhabib, 2000: li). He dismissed Arendt’s thought not because she was a woman, but because she came from a different school of thought: “She [Arendt] seems to be influenced by nobody else” [except “the German thinkers”] (Berlin, Jahanbegloo, 1991: 83).

chiavelli's *Il Principe*. This second story frames the first one, and through this interlacing, Arendt performs as a realist. She sees the source of the problem precisely, and offers a solution to it. Subsequently, there is a final story about freedom as a miracle and the "infinite improbability." Accordingly, Arendt mentions three problems concerning freedom. There is a problem of understanding that freedom coincides with politics. Then, there is a problem of sovereign freedom that becomes tyranny. Lastly, freedom is problematic in the sense that it is ephemeral and almost nowhere to be found in history. The first and the last difficulties are of a logical nature. They urge us to think of freedom in a different manner.

After we abandon the negative concept of liberty and embrace its positive nature, we are able to understand the meaning of political freedom and learn to value its exceptional presence in the world. However, the required change of logical tools does not only reveal the phenomenon of freedom to us, but also conceals it from us; as soon as we begin to understand freedom, we discover its unattainability. This goes even further since the readership may gain the impression that the only risk associated with freedom consists in one's individual loss. All that happens in the worst case is that we are deprived of a genuine political experience. This conclusion may lead to indifference and even suppress the understanding of the more insistent problem of freedom. There is no immediate link suggested between the personal underachievement of freedom and the danger of tyranny. The problem of sovereign freedom exists as if in a separate dimension. Arendt's dogmatism, which is nothing more than the legacy of her school of thought, sometimes tends to eclipse her own deep sensitivity of political reality.

Political realism in regards to freedom consists of approaching freedom as a problem. Here, one can register a curious mental reflection of the situation, with the fate of Berlin's words on positive freedom. Both the straightforward analytical reductionism (MacCallum, 1967; Nelson, 2005) and the hard-edged continental approach, exemplified in the miracle metaphor, tend to eliminate the problem of freedom.

The book *On Revolution*

An important development of Arendt's theory of freedom is outlined in her book *On Revolution*. Less abstract than her essay on freedom, this account of the American Revolution and the Constitutional process presents an outstanding historical example of the successful solution to problem of freedom, and particularly remarkable due to its temporal and ideological affinity to the paradigmatic case of terrible freedom failure — the terrors of the French Revolution. In this book, Arendt adapts the notion of "positive freedom" to her own theory. Being a step beyond liberation (which is the level of negative freedom), positive freedom is presented as an act of foundation for a new political order. The positive manifestations of freedom are expressions, discussions, and decisions of everything related to the political life, but the most illustrious case is the framing of the constitution.

Arendt explains why the American Constitution deserves the name of *Constitutio Libertatis*.⁸ This constitution's purpose was not solely to impose order, it was not only the supreme law. Indeed, it is a tricky moment for Arendt's argument, since within her school of thought, freedom is routinely defined in opposition to law and order. Order of any kind is the reversal of the revolutionary chaos; it is a counter-revolution. It seems that no revolutionary spirit may survive the constitutional process. The very first negative phase of every revolution, liberation, is the logical opposition to established laws. Therefore, the challenge of the "constitution of liberty" is to preserve the spirit of revolution while protecting political life from the dangers of tyranny and terror.

The Founding Fathers succeeded in solving this impossible political problem (which was nothing short of squaring the circle in geometry) only because they thought of freedom positively, and did not deduce it negatively from the legal framework. The purpose of the new constitution was not to limit the power of the sole ruler, but to create new centers of power. The most important element of the constitution was not the legal order itself, but the separation of powers. Law weakens power; the total domination of law can completely neutralize political life, reducing it to automatic procedures. Here, one can find another curious anti-parallel with the republican theory of Philip Pettit, who argues that depoliticization does not harm democracy (Pettit, 2004). On the contrary, Arendt insists, as a consequence of the separation, that fair competition among powers may only strengthen each of them. This is the key to the political puzzle. In order to preserve the power generated by revolution, the political center must be divided into several branches. While sovereignty is defined as indivisibility, the division of powers protects political freedom from tyrannical tendencies, and renders the freedom as non-sovereign.

In particular, Arendt noted the role of the Senate within the emerging political reality. Unlike its Roman counterpart, the American Senate does not have judicial functions following the principle of separation of powers. The Supreme Court holds authority, which is another important element of political life that saves it from the tyranny of the majority. The unique role of the Senate in comparison to the House of Representatives is that it functions as a mediator of public sentiments. The Senate stabilizes the system of political representation that otherwise could have become a hostage of volatility in popular preferences. The functional division between the chambers is a secondary feature behind the basic separation of powers. Whereas the primary division reflects the three different powers of the political body (thinking, willing, and judging), the secondary one reflects the opposition between knowledge (wisdom) and opinion. Hence, legislative deliberation employs two different logics, those of normativity and of spontaneity. The normative thinking secures the consistency of law-making, and the spontaneity of public opinions introduces the element of novelty. The House therefore plays a special role. The constitution foresaw two sources of political novelty, those of the executive power and public opinion. As soon as the House loses its ability to represent the diversity of views, political life becomes poorer in positive expressions of freedom. This might have led to a well-

8. The term itself was coined long ago by Henry de Bracton, who applied it to the *Magna Carta*.

known political drama from the past where the will of the monarch challenged the limits of legality. For the new republic, it would have been an obvious regress. Therefore, parliament should have become the ideal conscience that collects and preserves the whole diversity of opinions among citizens. Its part in political life may be compared to that of Socrates in Athens, who, according to Arendt's interpretation of the history of philosophy, became just such an ideal conscience for his polis. However, after him, philosophy was never again up to this mission, which was carried on only by political actors.

The American Revolution was improbably successful; still, its success did not last long if one measures it against the preservation of the initial revolutionary spirit. The purpose of *Constitutio Libertatis* was to found the public space where freedom might thrive. However, the established Constitution of the United States came to be seen primarily as an unchangeable law, and not as an invitation to political creativity. The judicial, i.e., the negative attitude to liberty came to prevail. Then, the rise of partisan politics impeded the House from fulfilling its mission as the reservoir of diversity. Moreover, the original sources of positive freedom — the town hall meetings and spontaneous associations — were not integrated into the new political framework, and as consequence, lost relevance. This later development corroborates Arendt's thesis from the essay that periods of freedom, which are as miracles in history, are always short-lived.

She registered at least one counter-trend, expounded in the political views of Thomas Jefferson who disliked that the Constitution became an object of worshipping and wanted to preserve a creative attitude to political life in the spirit of revolution. His idea was to implement the wards system of "elementary republics," where citizens were able to actively participate in discussions and decisions. In the end, it was supposed to serve as an alternative way to represent the diversity of opinions so that the spontaneity of social life would be shielded from the unifying forces of national political establishment.

Arendt's idea was different from Jefferson's; nevertheless, it was based on the principle of quasi-territorial division. She suggested a solution to the representation of positive freedom, which may remind her readers of Jeffersonian "wards," because, as she put it, freedom is always spatially limited (Arendt, 2006: 275). This thesis is a very unusual move for her school of thought. One can cite here at length Heidegger's "Art and Space," where the incompatibility between "space" and "place" is convincingly explained (Heidegger, 1973). This move goes against her own vision of freedom as a miracle, since a miraculous political event, being a point on the line of history, does not have any spatial dimension. Being spatially limited, freedom is not a miracle anymore; it is not out of this world anymore. It becomes material; this is why, as with any material body, it has its borders. Additionally, since every limitation is a product of some negation, a possibility opens to reconcile the positive understanding of freedom with the negative concept which is the focus of liberal theory. The spatial limitation turns out to be the theoretical mediator that allows the two concepts of freedom to become compatible while keeping a safe distance from one another. A similar thought may be found in Arendt's earlier essay on freedom,

where performing virtuosity was described almost as an “island” or an “oasis” of liberty within the public realm⁹.

Building on Arendt's solution of freedom problem

How can we evaluate her suggestion? Firstly, it is more likely to be a guide to the solution to the freedom problem than the solution itself. Basically, Arendt does nothing else than reformulate the issue. Instead of asking “How can freedom be thought of as non-sovereign?” a new question is implicitly introduced: “How can freedom be thought of as spatially limited?” Moreover, she has already answered it; it is always so. She cites no reasons for that claim, but whatever her reasons might be, this answer cannot be accepted.

In fact, freedom has almost never been spatially limited. One of her favored historical cases of political freedom, Periclean Athens, was a flourishing naval empire, steadily expanding its territorial domination over autonomous Greek states. In a speech which is hardly ever read in comparison to the famous funeral oration preceding it, Pericles teaches his audience that Athenians may never rely on the mercy of their enemies because they rule like tyrants in the Greek world (Thucydides II.63). Arendt was wrong when she claimed that the city borders were sufficient for Athenians to enjoy their political freedom (Arendt, 1990: 76). Whenever a free spirit is able to confine itself within limits, freedom is not compromised. Nevertheless, the paradox remains untouched; why should freedom ever restrict itself? Although the guide to the solution Arendt gives us may be perfect, this cannot be the solution itself.

Secondly, being a realist, Arendt moved away from what was expected based solely on her intellectual tradition. She discerned the freedom problem and intended to resolve it rather than to keep the allegiance to a certain way of speaking about freedom. One can even defend the incompleteness of her final stance, since we can hardly expect that a book would solve the freedom problem forever. Any solution must be political and not logical. However, a refinement based on her argument alone may be suggested.

The final pages of the book “On Revolution” are highly remarkable. While presenting the “islands” or “oases” of freedom as the elements of political reality, Arendt made another surprising move by introducing the word “*élite*” (Arendt, 2006: 275). The passage to this topic came out of necessity, so she went into a lengthy justification of this term, notwithstanding all dubious connotations. Her *élite* is obviously not the traditional oligarchy; rather, it is the political avant-garde, the most politically active part of the community who are willing and able to express and to experience freedom positively. The line separating the *élite* from other citizens is very important, because it can bring a double salvation; it saves the elements of freedom within the political realm, and it saves the majority of people from the perils of politics. In other words, it is a solution for both

9. Berlin had a similarly pessimistic view and used the same metaphor (“oases in the desert”) when he complained of the exceptionality of liberty in human history: “The periods and societies in which civil liberties were respected, and variety of opinion and faith tolerated, have been very few and far between — oases in the desert of human uniformity, intolerance and oppression” (Berlin, Harris, 2002: 218).

problems at the same time, those of positive freedom, which Arendt was preoccupied with, as well as for the problem of negative or liberal freedom.

It is appropriate here to return to that point in her essay on freedom where Arendt translated Machiavelli's *virtù* as "excellence." Excellence is what distinguishes individuals from their fellow citizens. It is what makes them *élite*. *Il Principe* tells of the successful prince who excels through his *virtù* that allows him to challenge his fate. Machiavelli's advice to the ruler was to be as unjust and perfidious as possible. In this case, the individual and the state sovereignty coincided, giving rise to tyranny. Why should this sovereign limit his freedom through spatial borders? On the contrary, the whole point of the treatise was to conquer more land and people, to unite a divided Italy. Therefore, this unfortunate parallel may badly discredit what is said about the *élite* in the finale of *On Revolution*. Yet, Arendt's argument drew a full circle going from "excellence" to "élite," marking the real problem with freedom, which she could not help but return to. How can the political difference, which is the most viable definition of positive freedom, be no harm to others? It sounds like a paradox, particularly after we recall that the ancients identified virtue with the good. In other words, how can the good be no evil? Whereas Berlin and Pettit seem to ignore this issue altogether on the ground that it is analytically impossible and therefore inaccessible within their theoretical frameworks, Arendt tries to deal with it realistically, but even she is urged to offer an extra justification for being attentive to a dubious theme like "élite."¹⁰

The question seems rhetorical and the answer seems obvious: how can the good be evil in the first place? If you are really good, it cannot bring evil, it cannot harm anyone. This consideration returns us back to the track with the logic of freedom rather than with the logic of justice and spatial distribution, which is typical for both liberal and neo-Roman approaches. In other words, we are back to thinkers like Heidegger and Deleuze. Does it mean that Arendt was wrong when she parted ways with her school of thought? Definitely not. In order to solve the problem, you must first see the problem. You cannot offer a solution to a problem that does not exist for you, as freedom (in a non-liberal sense) was never a problem either for Heidegger or for Deleuze.

However, why is it so important to speak about something like "benevolent excellence"? First, this is not a marginal phenomenon. Generally speaking, it shows that our political reality is not "flat," i.e., that people and political entities are not the same. They are different not as a consequence of some natural or social conditions, but because they want to be so. They want to excel among their peers in their unique ways. It is precisely their expression of freedom that makes them different. The practical applications of this approach are numerous. In connection with the issue of benevolent excellence, one can talk about American Exceptionalism, about the role of a public intellectual (or any other individual) within a community, or about the fate of liberal tradition or of the entire Western civilization within the complex post-modern world. In cases like these, people

10. As another contribution to the same subject, one can cite her essay "On Authority," also in: Arendt, 1961, where, quite unexpectedly, she defended the importance of authority in political life.

want to make a difference, which they understand as something good. It is here that the problem immediately arises of how can this good be no evil.

But how can it not? In what follows, I am going to elaborate on the point that seems to be at the center of the theory of freedom. There are two options; either we expect that some spatial limit is applied to freedom from outside (by structural conditions, by political institutions, etc.), or the limit is the result of freedom itself. The first scenario is the liberal or the republican one. It does not really matter if individual liberty is protected from the "outside" or constrained from the "inside." A quasi-spatial structure, be it the fixed set of basic rights or the laws of reason, will do the entire job to solve the problem of freedom. Sometimes Arendt is fairly close to presenting a solution of this type. However, questions always remain. Why does this structure have a priority over all others? In virtue of what? What makes it good? Hence, this solution requires something other than freedom to come into play. Tentatively, one can call it justice. Freedom and justice are two different and almost opposite political problems. In accordance with her school of thought, Arendt even argued that unlike friendship, justice is something anti-political (Arendt, 1990: 83). However, as we saw, her realism urged her to make compromises and to consider just spatial distributions as a possible political remedy.

Another option is to stick with the politics of freedom, and to expose justice as its secondary, though inevitable, effect. Against this backdrop, all negative concepts of liberty are better understood as integral elements of a theory of justice rather than of freedom. Finally, this is what makes Arendt's thought unique: in a certain sense, her theory was the only one in the 20th century that realistically confronts the phenomenon of freedom as freedom and not as justice. No moralism or universal principles are of help in this case, since freedom understood as excellence is clearly egoistic. In order to explain how a multitude that forms a political realm can emerge from the chaos of singularities, we have to extend our concept of excellence. In her Kantian seminars, Arendt used the notion of "exemplary validity" (Arendt, 1982: 76). One can say that any expression of freedom has its unique and exemplary value through which it excels in the world. But the world does not precede freedom as a common space where freedom is to be placed.

There was no political realm, nor did the word for freedom exist, before the Greeks discovered their free way of life. The word and the multitude were created as an effect of their difference, not only from other peoples, but also among themselves. They excelled not simply in words and deeds, but in very different speeches and forms of life. Although they spoke a common language with several dialects, they invented many new ways of speaking this language. Some were artificial creations or explorations of the very limits of understanding (as in sophistic), or they freely combined the existing dialects for artistic purposes (as in drama). In the end, political life in Greece flourished not because they had a common language from the beginning, but because they created multiple different artificial "private" languages, logical oases as it were, instead of just one. Insofar as their ways to express freedom were unique, they had no immediate cause to either interfere in others' lives or to dominate them. Such expressions of Greek positive freedom as phi-

losophy, the complex love relations, the fine arts, and so on, were genuinely exceptional¹¹. Since those achievements were new to the Ancient world and incommensurable with it, they were also just to it. Their justice was as if it was “deduced” from their freedom.

This is very close to what Arendt said about the American Constitution as *Constitutio Libertatis*. The space to distribute among the powers was not there before the powers were created. The powers, insofar as they excelled in their spontaneity and positive freedom, were able, for the first time, to lay out the political space of justice for the newborn Union. Perfect laws or perfect judicial mechanisms do not lead to good politics. On the contrary, political life (if only it is good and virtuous, meaning that it allows people to excel in their own virtues and to be genuinely different in their forms of life) promotes justice. Whenever we try to make a difference, there is a case for such benevolent excellence. If we think (as we ought to) about how our excellence can be no harm to others, the simple answer is to be as good as only we can; this seems to be the only path to salvation. Justice to others will follow from the virtue of positive freedom.

References

- Arendt H. (1961) *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*, New York: Viking Press.
- Arendt H. (1982) *Lectures on Kant's Political Philosophy*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (1990) Philosophy and Politics. *Social Research*, vol. 57, no 1, pp. 73–103.
- Arendt H. (2006) *On Revolution*, London: Penguin.
- Badiou A. (2006) *Being and Event*, London: Continuum.
- Benhabib S. (2000) *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Berlin I., Harris I. (2002) *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, Oxford: Oxford University Press.
- Berlin I., Jahanbegloo R. (1991) *Conversations with Isaiah Berlin*, London: Halban Publishers.
- Christman J. (2005) Saving Positive Freedom. *Political Theory*, vol. 33, no 1, pp. 79–88.
- Heidegger M. (1973) Art and Space. *Man and World*, vol. 6, no 1, pp. 3–8.
- Heidegger M. (2002) *On Time and Being*, Chicago: University of Chicago Press.
- Heidegger M. (2012) *Contributions to Philosophy (Of the Event)*, Bloomington: Indiana University Press.
- Larmore Ch. (2001) A Critique of Philip Pettit's Republicanism. *Philosophical Issues*, vol. 11, no 1, pp. 229–243.
- MacCallum G. C. (1967) Negative and Positive Freedom. *Philosophical Review*, vol. 76, no 3, pp. 312–334.
- Miller D. (ed.) (2006) *The Liberty Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

11. Plato mentioned such fruits of the Greek liberty in his *Symposium*, 182c.

- Nelson E. (2005) Liberty: One or Two Concepts Liberty: One Concept Too Many? *Political Theory*, vol. 33, no 1, pp. 58–78.
- Pettit P. (2002) Keeping Republican Freedom Simple: On a Difference with Quentin Skinner. *Political Theory*, vol. 30, no 3, pp. 339–356.
- Pettit P. (2004) Depoliticizing Democracy. *Ratio Juris*, vol. 17, no 1, pp. 52–65.
- Pettit P. (2011) The Instability of Freedom as Noninterference: The Case of Isaiah Berlin. *Ethics*, vol. 121, no 4, pp. 693–716.

Арендт о позитивной свободе

Алексей Глухов

Кандидат философских наук, доцент Школы философии НИУ ВШЭ
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: alexeigloukhov@gmail.com

Предложенная Ханна Арендт концепция свободы занимает исключительное место в современной политической теории. Во-первых, эта концепция позитивна, что ставит ее в оппозицию к обеим актуальным негативным концепциям свободы, либеральной (Исайя Берлин) и республиканской (Квентин Скиннер, Филип Петтит). Сравнение между теориями Арендт и Петтита позволяет указать несколько моментов выразительного логического антагонизма. На этом основании вводится понятие «школы мысли», которое играет существенную роль при последующем рассмотрении арендтовского реализма. Во-вторых, несмотря на то, что учение Арендт о свободе достаточно типично для континентальной школы мысли (Мартин Хайдеггер, Жиль Делёз, Ален Бадью), ее решение той проблемы, которую представляет собой свобода, скорее сближает ее позицию с представителями либеральной традиции. В-третьих, на мой взгляд, эту двусмысленную ситуацию необходимо считать скорее проявлением политического реализма, отличающего теорию Арендт, чем тривиальной непоследовательностью мышления. Именно политический реализм является по-настоящему уникальной частью интеллектуального наследия этого мыслителя. Осознание специфики ее подхода способно привести к серьезным изменениям в современной политической философии. Наконец, в финале статьи дается анализ сформулированного Арендт решения проблемы свободы, а также предлагается интерпретация ряда, на первый взгляд, неожиданных и даже не совсем уместных понятий (например, «превосходство» или «элита»), без которых тем не менее не обходится арендтовская трактовка свободы. Хотя в конечном счете ее решение кажется искусственным, оно открывает многообещающее поле политических исследований, связанных с понятием «благожелательное превосходство».

Ключевые слова: Ханна Арендт, свобода, справедливость, добродетель, доблесть, превосходство, элита

Первая «Лекция по политическому праву» Х. Доносо Кортеса

Юрий Василенко

Кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ-Пермь
Адрес: ул. Студенческая, д. 37, г. Пермь, Российская Федерация 614070
E-mail: yvasilenko@hse.ru

В статье концептуализированы основные положения первой из десяти «Лекций по политическому праву», прочитанных выдающимся испанским политическим философом-консервативом XIX в. Хуаном Доносо Кортесом в мадридском «Атенео» в 1836–1837 гг. В «Лекции» Доносо формулирует собственную, как он ее называет, «всеобщую теорию правления» и сосредотачивается на «миссии правления представительного», отстаивая молодую испанскую конституционную монархию, оказавшуюся в тисках между двумя крайностями: либерально-буржуазным революционным движением (партией прогрессистов) слева и клерикально-абсолютистским движением («карлистами») справа. В ходе «Лекции» Доносо противопоставляет два закона: «закон индивидуума» и «закон ассоциации», которые в будущем подобно противоположностям Гегеля должны синтезироваться в «плодовитом единстве». «Лекция» претендует на широкие исторические обобщения, являющиеся неотъемлемой чертой философского стиля Доносо, и может быть определена как философия истории. Автор также анализирует две классические интерпретации «Лекций» и их аргументы, предложенные испанскими политическими философами XIX–XX вв., решая при этом одну из ключевых для всей идейно-ценностной эволюции Доносо проблему: к какому типу консерватизма он принадлежит на этапе 1836–1837 гг., либеральному консерватизму или традиционализму.

Ключевые слова: социальная философия, представительное правление, либеральный консерватизм, традиционализм, Хуан Доносо Кортес, Испания XIX века

Лекция «Об обществе и правлении», являющаяся предметом нашей статьи, открывает целый цикл из десяти «Лекций по политическому праву», прочитанных Хуаном Доносо Кортесом в знаменитом мадридском институте «Атенео» в 1836–1837 гг.

«Научный, литературный и артистический «Атенео» Мадрида», функционировавший в годы «либерального трехлетия» (1820–1823) как дискуссионная площадка и либеральный клуб, был закрыт королем-традиционалистом Фернандо VII во времена «пагубного десятилетия» (1823–1833); отсюда очередное открытие «Атенео» в 1835 г. олицетворяло собой новую победу в развитии испанского Нового — либерально-буржуазного — порядка. История «Атенео» — неотъемлемая часть политической истории Испании, своеобразное интеллектуальное приложение к ней. В его аудиториях словно эхо отражались все события социально-политической жизни Испании, но прежде всего идейно-ценностное противостояние между

© Василенко Ю. В., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

двумя либерально-буржуазными политическими партиями — «прогрессистов» (левые центристы) и «модерадос» (правые центристы), каждая из которых старалась представить и обосновать собственный проект будущего.

В 1836 г. будущий выдающийся испанский журналист, дипломат, политик и политический философ Хуан Франсиско Мария де ла Салуд Доносо Кортес-и-Фернандес Канедо, маркиз де Вальдегамас (1809–1853) находился лишь в самом начале своей карьеры. Удачно пережив в своей идейно-ценностной эволюции так называемый «прогрессистский» этап, связанный с юношескими исканиями и завершившийся сотрудничеством с прогрессистским правительством Х. Альвареса Мендисабалы (14.09.1835–15.05.1836), прославившимся своими гонениями на Испанскую католическую церковь, за что Доносо потом будет еще очень долго оправдываться, выходец из глубокой испанской провинции Эстремадура делает первые шаги на столичном поприще как представитель уже либерально-консервативного крыла партии «модерадос» (умеренных либералов), которая на тот момент — подобно своим единомышленникам французским «либеральным доктринерам» — ставила своей целью законсервировать результаты завершившейся недавно революции и обеспечить поступательную либерально-буржуазную модернизацию страны на основе негласного консенсуса между феодальной аристократией и зарождающейся крупной буржуазией. Принципиальное отличие между политикой испанских и французских «либеральных доктринеров» заключалось в том, что во Франции революционный процесс продвинулся значительно дальше, чем в Испании, где либерально-буржуазная революция во многих отношениях еще только набирала ход. Однако для молодого политического идеолога и страстного франкофила, каким был Доносо, конкретно-исторический контекст является последовательно вторичным: наш персонаж устремляется ввысь, достигая головокружительных, как ему кажется, высот философских и историософских обобщений. Получив уникальную возможность проявить себя перед столичной публикой в качестве заведующего кафедрой политического права «Атенео», Доносо приступает к своим «Лекциям» со всем присущим его гению рвением.

Первая «Лекция», названная Доносо «Об обществе и правлении», является основополагающей для всего последующего цикла. Поблагодарив Правление «Атенео» за приглашение, Доносо обращается к ключевой для всего его философско-политического наследия теме революции. Именно в ее контексте он раскрывает «всеобщую теорию правления» и обосновывает «особую миссию правления представительного», что в конкретно-историческом контексте означало защиту той конституционной монархии, которая в середине 1830-х гг. делала в Испании под руководством партии «модерадос» свои первые шаги.

Отметив деятельную природу любого правления, Доносо связывает его реализацию с некими принципами, целями и бытием; в качестве последнего выступает общество, которое становится субстратом правления, благодаря чему правление становится атрибутом общества. Правление, доказывает свой тезис Доносо, порождается общим действием активных существ, которые становятся по отноше-

нию к правлению первичными. Отсюда общество и правление неразрывны, они не могут существовать друг без друга; разрушение одного приводит к гибели другого. Как консерватор Доносо берется защищать и общество, и форму его правления, обрушиваясь на теорию общественного договора Ж.-Ж. Руссо, которая, будучи теорией без общества, становится для него «исторически ложной и логически несостоятельной».

Человек как член общества существует в двух форматах — сам по себе, подчиняясь, как называет его Доносо, «закону индивида», и в связи с Богом, физическим миром и остальными людьми, подчиняясь «закону ассоциации». В отношениях с Богом Доносо трактует человека как смиренного и преклоняющегося, связанного идеей долга. В отношениях с природой человек становится господином. И если в первом случае человек подвержен «абсолютному рабству», то во втором он обладает «абсолютной свободой». Взятый лишь в этих противоположных отношениях, человек, считает Доносо, является неполным, ему не хватает отношений с другими людьми, которые в философском плане выступают в качестве гегельянского синтеза двух противоположностей, а в сугубо политико-идеологическом — как философское обоснование политики партии «модератос», направленной на гармоничное слияние слабо совместимых между собой абсолютной свободы как главной ценности либерализма и абсолютного рабства как главной ценности традиционализма. Эклектика, позаимствованная Доносо у французских «либеральных доктринеров», в данном случае становится очевидной. Между тем взаимное дополнение «долга» и «права» делает человека полным, правило этой полноты — справедливость, которая и сообщает человеку «моральный мир».

Наделяя человека «интеллектом» и «свободой», Доносо обосновывает необходимость общества, порождаемого взаимодействием «многих интеллектов», и правления, порождаемого свободой как присущей исключительно человеку. Последний тезис Доносо считает необходимым пояснить особо; тем более что проблема свободы имеет и политико-идеологическое звучание: Доносо обрушивается на «ложных философов» и «ложных законодателей», за которыми в понятиях испанского политического вокабулярия скрываются потенциально либеральные антропоцентристы эпохи Возрождения и британо-французские просветители XVII–XVIII вв. Свобода, понимаемая Доносо как нечто, что заставляет человека сопротивляться любой ассоциации, т. е. как абсолютная свобода, становится для него принципом антисоциальным, порождающим в обществе «дивергенцию и борьбу».

Защищаясь от свободы, общество вынуждено прибегать к правлению. И в этот момент Доносо делает заявление, за которое его будут как минимум обвинять в традиционализме, если не в правом радикализме уже во второй половине 1830-х гг., за десять примерно лет до его более-менее общепризнанного «обращения» в традиционализм накануне очередной революции 1848–1849 гг.: правление есть сопротивление. Доносо призывает защищать общество от человеческой индивидуальности, вторжение которой в общество он считает преступлением. Те-

зис, на который не обращают внимания критики Доносо, спешащие надеть на него ярлык «реакционера», состоит в том, что наш персонаж одновременно призывает и человеческую индивидуальность защищать от вторжения общества; уравновешивая тем самым две противоположности. Вторжение индивидов в общество порождает анархию, вторжение общества в индивидуальность — деспотизм. Доносо занимает позицию в аккурат между ними, полагая зарождающуюся в Испании политическую идеологию либерального консерватизма как располагающуюся между либерально-буржуазной революцией и клерикально-абсолютистской реакцией, между либерализмом и традиционализмом.

В этой связи правление имеет свои лимиты, оно связано определенным правилом, которое Доносо называет справедливостью: только справедливость может указать, где заканчивается легитимное сопротивление и начинается нелегитимное вторжение. Однако справедливость требует «сохранения всего существующего», а именно — и общества, и свободы человека. Справедливое правление не позволяет им переходить границы друг друга, чем и гарантирует им взаимное сохранение. При этом Доносо спешит оговориться, что справедливость не может быть действенной, если «общество колеблется в своих основаниях». О том же, как обеспечить устойчивость общества, Доносо будет размышлять уже в последующих лекциях. Заключительная часть первой — подробный анонс последующих «Лекций».

В европейской историографии вопроса «Лекции» Доносо породили две политико-идеологические интерпретации: либерально-консервативную и традиционалистскую. Последнюю, по нашему мнению, правильнее было бы называть «протрадиционалистской», поскольку речь идет об идейно-ценностной эволюции нашего персонажа в направлении традиционализма, а не о его традиционализме как ставшем.

Либерально-консервативная интерпретация в силу своей значительной очевидности ожидаемо имеет массу сторонников, единых во мнении о непреходящем значении этого сочинения Доносо. В этой связи достаточной будет оценка современного испанского историка П. К. Гонсалеса Куэваса, который называет «Лекции» «подлинным катехизисом испанского доктринального либерализма» (González Cuevas, 2000: 98). При этом Гонсалес Куэвас опирается на суждение выдающегося немецкого «доносоведа» середины XX в. Э. Шрамма, согласно которому Доносо на момент чтения своих «Лекций» «не был ни революционером, ни реакционером; ни сторонником абсолютизма, ни сторонником суверенитета нации; ни карлистом, ни либералом-экстремистом; он происходил ни из аристократии, ни из народа, а из зажиточной буржуазной семьи» (Schramm, 1936: 94). Доносо, согласно Гонзалесу Куэвасу, «стремится примирить новые социальные силы со старыми» (González Cuevas, 2000: 98, курс наш) и призывает правительство к «историческому континуитету», «существенным принципом» которого является «монархический институт» как «хранитель социального разума»; при этом наш персонаж представляет интересы «среднего класса» и защищает права гражданина-собственника, обеспечивая их «институциональными противовесами» (Schramm, 1936: 94).

Также либерально-консервативную интерпретацию «Лекций» поддерживает и ученик Доносо традиционалист Х. М. Орти-и-Лара, который, будучи на момент издания трудов своего учителя заведующим кафедрой Центрального университета и членом Романской академии Святого Фомы Аквинского, не только с академических, но и сугубо политико-идеологических позиций написал многочисленные комментарии к используемому нами изданию (мы также их приводим в сносках к тексту), каждый раз — иногда даже весьма едко — подмечая бросающиеся в глаза несоответствия некоторых утверждений нашего персонажа традиционалистской доктрине.

Интерпретации, которые мы могли бы назвать «протрадиционалистскими», значительно разнообразнее, хотя все они также выстраиваются вокруг всевозможных вариаций и намеков Доносо на понятие «диктатура», которое наш персонаж, в отличие от большинства либеральных консерваторов своего времени, произносить никогда не боялся. Именно поэтому современный выдающийся испанский историк-коммунист А. Элорса Домингес и политолог К. Лопес Алонсо из мадридского университета Комплутенсе смогли разглядеть в нашем персонаже «некоторые *авторитарные* черты, которые будут характеризовать его последующую продукцию» (Elorza, López Alonso, 1989: 47, курсив наш). Отсюда и серьезные сомнения, которые Элорса и Лопес Алонсо испытывают в отношении «чистоты» использования Доносо такого важного для политической идеологии либерального консерватизма понятия, как «свобода»: «В этой работе [в «Лекциях». — Ю. В.], — пишут они, — можно найти противопоставление, которое он [наш персонаж. — Ю. В.] в дальнейшем будет развивать, между *свободой* и *обществом*, понимая первую как *коррозирующего* и *разрушительного* агента второй» (Ibid.). «Свобода», утверждают сторонники «протрадиционалистской» интерпретации, несет с собой у Доносо «дивергенцию и борьбу» (см.: Журавлев, 2006: 34), т. е. используется с негативными коннотациями, что для либерала в целом недопустимо в принципе. Отсюда появляется и совершенно иной контекст для обоснования понятия «диктатура». И если в либерально-консервативной интерпретации Гонсалеса Куэваса диктатор выступает в исключительных обстоятельствах как защитник против деспотизма потенциально праворадикальных консерваторов (карлистов) и революционных устремлений леворадикальных либералов (прогрессистов), то в «протрадиционалистской» Элорсы и Лопеса Алонсо речь идет прежде всего о сущности власти как таковой, которая, как они понимают мысль Доносо, «должна быть единой и сильной, без ограничений, поскольку *ограничить ее — значит разрушить*» (Elorza, López Alonso, 1989: 47, курсив наш).

Собственные суждения о «Лекциях» Доносо в духе «протрадиционалистской» интерпретации высказывали и его современники-прогрессисты, предшественниками современных испанских левых, что позволяет нам сделать вывод об определенной идейно-ценностной и концептуально-методологической общности их подходов к политико-идеологическому наследию нашего персонажа: и в XIX в., и сейчас социал-демократы и, как мы увидели выше, коммунисты склонны усили-

вать, если вообще не преувеличивать, правый уклон в идеях, взглядах и ценностях либеральных консерваторов, превращая их в традиционалистов. Отсюда очень значимой для нас оказывается весьма едкая по своему содержанию дискуссия, развернувшаяся между Доносо и журналистом-прогрессистом Б. Х. Гальярдо-и-Бланко, которую Шрамм представляет в своей работе первоначально как дискуссию о «стиле Доносо». Таким же образом ее определяет и выдающийся испанский традиционалист середины XX в. С. Галиндо Эрреро, указывая на обидное, как ему кажется, прозвище, данное прогрессистом нашему персонажу, — «Гизотин» (см.: Galindo Herrero, 1957: 63). Между тем Гальярдо, назвав стиль Доносо не только «французенным», но и «апокалиптическим», увидел в его идеях, взглядах и ценностях, как представляется, нечто большее. «Что касается „апокалиптического“, — пишет Шрамм, — то это в любом случае не столько стиль, сколько образ мысли Доносо, т. е. способность доводить до *последних пределов* разрушительные эффекты от реализации ложных идей или деятельности несовершенных институтов... до полного разрушения государства или нации» (Schramm, 1936: 96–97).

Также в пользу явно «протрадиционалистской» интерпретации «Лекций» Доносо мы можем привести не менее весомое мнение, принадлежащее выдающемуся испанскому историку и общественно-политическому деятелю второй половины XIX в. А. Кановасу дель Кастильо; тем более что оно принципиально отличается от представленных нами выше интерпретаций прогрессистов XIX в. и современных испанских коммунистов. Так, предлагая собственную интерпретацию «Лекций», Кановас увидел в них и «Очерке о католицизме, либерализме и социализме» как наиболее значимой работе Доносо-традиционалиста общее философско-мировоззренческое содержание, связанное с постоянно присущим нашему персонажу «недоверием к воле»: «...и раньше [в «Лекциях». — Ю. В.], и впоследствии [в «Очерке». — Ю. В.], — пишет Кановас, — [Доносо. — Ю. В.] *равно осуждал свободное действие воли* как в индивидууме, так и в нации» (цит. по: Журавлев, 2006: 35, а также: Schramm, 1936: 92, курсив наш). Несмотря на то, что данная оценка не совсем верна в том смысле, что «свободная воля», дарованная человеку изначально Богом, является в «Очерке» одним из центральных понятий, приведенное нами суждение Кановаса тем не менее является крайне важным, поскольку оно связывает воедино как минимум два этапа — либерально-консервативный и традиционалистский — идейно-ценностной эволюции Доносо и демонстрирует нам условность их жесткого разграничения; причем соединяет их, на наш взгляд, в пользу последнего. Именно на этапе «Лекций», вторит Кановасу российский сторонник «протрадиционалистской» интерпретации О. В. Журавлев, «эволюция воззрений Доносо Кортеса выглядела как *неуклонное вызревание* католической доктрины социальной жизни, управления ею и сообразной ей философии истории» (Журавлев, 2006: 35, курсив наш).

Таким образом, мог бы заключить выдающийся испанский историк XX в. Ф. Суарес Вердегер, в 1836–1837 гг. Доносо «испытывал влияние *доктринеров или традиционалистов*» (см.: Suárez Verdeguer, 1997: 235, курсив наш); однако, что

принципиально, «это уже *не чистое* доктринерство» (Ibid: 239, курсив наш), — добавляет он через несколько страниц. Общеисторическая же значимость «Лекций» Доносо обуславливается тем обстоятельством, что всего подобных циклов в мадридском «Атенео» было прочитано три: наряду с нашим персонажем их читали такие выдающиеся представители либерально-консервативного крыла партии «модерадос», как Х. Ф. Пачеко-и-Гутиеррес Кальдерон и А. Алькала Гальяно-и-Фернандес де Вильявисенсио. Все они вошли в философско-политическую генеалогию испанского либерального консерватизма; однако, «согласно Кановасу, — пишет Шрамм, — Доносо превосходил их обоих как по способности к суждению, так и полемической силе» (Schramm, 1936: 91).

Литература

- Доносо Кортес Х.* (2006). О суверенитете ума, подтвержденном авторитетом философов / Пер. с исп. О. В. Жеравлева // *Доносо Кортес Х.* Сочинения. СПб.: Владимир Даль. С. 383–399.
- Журавлев О. В.* (2006). Хуан Доносо Кортес — апостол традиционализма // *Доносо Кортес Х.* Сочинения. СПб.: Владимир Даль. С. 5–88.
- Donoso Cortés J.* (1904). Antecedentes para la inteligencia de la cuestión de Oriente // *Donoso Cortés J.* Obras de Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas. Vol. III. Madrid: Editorial de San Francisco de Sales. P. 619–668.
- Elorza A., López Alonso C.* (1989). Arcaísmo y modernidad: pensamiento político en España, siglos XIX–XX. Madrid: Historia 16.
- Galindo Herrero S.* (1957). Donoso Cortés y su teoría política. Badajoz: Excma.
- González Cuevas P. C.* (2000). Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Schramm E.* (1936). Donoso Cortés: su vida y su pensamiento. Madrid: Espasa-Calpe.
- Suárez Verdeguer F.* (1997). Vida y obra de Juan Donoso Cortés. Pamplona: Eunate.

The First “Lecture on Political Right” by J. Donoso Cortés

Yuri Vasilenko

Associate Professor, National Research University Higher School of Economics — Perm
Address: Studencheskaya Str., 37, Perm, Russian Federation 614070
E-mail: yuvasilenko@hse.ru

In the article the basic provisions of the first of ten “Lectures on Political Right” read in Ateneo of Madrid by outstanding Spanish conservative political philosopher of the 19th century Juan Donoso Cortés in 1836–1837s is conceptualized. In this “Lecture” Donoso formulates his own, as he calls it, “the general theory of government” and focuses on “the mission of the representative government,” defending the young Spanish constitutional monarchy, which turned in a vice between two extremes: the liberal bourgeois revolutionary movement (the party of progressists)

on the left and clerical absolutist movement ("Carlists") on the right. In his "Lecture" Donoso opposes two laws: "law of the individual" and "association law," which in the future should be synthesized, like Hegel's opposites, in the "prolific unity." The "Lecture" contains broad historical generalizations which are an integral feature of Donoso's philosophical style and can be defined as a philosophy of history. The paper also considers two classic interpretation of the "Lectures" and its arguments proposed by the Spanish political philosophers of the 19–20th centuries, thus solving one of the key question concerning Donoso's general ideological and value evolution: what type of conservatism he belongs to on the stage of 1836–1837: liberal conservatism or traditionalism?

Keywords: social philosophy, representative government, liberal conservatism, traditionalism, Donoso Cortés, 19th century Spain

References

- Donoso Cortés J. (1904) *Antecedentes para la inteligencia de la cuestión de Oriente*. Obras de Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, vol. III, Madrid: Editorial de San Francisco de Sales, pp. 619–668.
- Donoso Cortés J. (2006) O suverenitete uma, podtverzhdyonnom avtoritetom filosofov [On the Sovereignty of Mind as Confirmed by the Authority of Philosophers]. *Sochineniya* [Selected Works], Saint-Petersburg: Vladimir Dal', pp. 383–399.
- Elorza A., López Alonso C. (1989) *Arcaísmo y modernidad: pensamiento político en España, siglos XIX–XX*, Madrid: Historia 16.
- Galindo Herrero S. (1957) *Donoso Cortés y su teoría política*, Badajoz: Excma.
- González Cuevas P. C. (2000) *Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días*, Madrid: Biblioteca Nueva.
- Schramm E. (1936) *Donoso Cortés: su vida y su pensamiento*, Madrid: Espasa-Calpe.
- Suárez Verdeguer F. (1997) *Vida y obra de Juan Donoso Cortés*, Pamplona: Eunate.
- Zhuravliov O. (2006) Huan Donoso Kortés — apostol traditzionalizama [Juan Donoso Cortés — An Apostle of Traditionalism]. *Sochineniya* [Selected Works], Saint-Petersburg: Vladimir Dal', pp. 5–88.

Лекции по политическому праву, прочитанные в Мадридском Атенео

Лекция первая (22 ноября 1836 г.):
Об обществе и правительстве^{*,1}

Хуан Доносо Кортес

В первой «Лекции по политическому праву», прочитанной в Мадридском Атенео 22 ноября 1836 г., Хуан Доносо Кортес формулирует «всеобщую теорию правления» и «особую миссию представительного правления». Определяя правление как «социальное действие», Доносо связывает неразрывно «идею общества» и «идею правления». Рассматривая общество как совокупность индивидов, связанных определенными отношениями, Доносо формулирует два противоположных по своему действию закона: «закон индивида», определяющий независимость и свободу человека, и «закон ассоциации», связанный с субординацией и направленный на достижение гармонии в обществе. Способность человека к ассоциации с другими людьми делает его разумным и свободным. Разум как гармоничное начало создает общество, свобода как антисоциальное начало общество разрушает; отсюда правление возникает в силу необходимости сопротивления свободе. И центральный тезис всей лекции: «Для правительства действовать означает сопротивляться»; сопротивляться «вторжению человеческой индивидуальности», но, следуя морали и «правилу справедливости», ни в коем случае не подавлять ее полностью. Демонстрируя либерально-консервативный характер своих политических идей, взглядов и ценностей, Доносо призывает молодую испанскую конституционную монархию, только-только начавшую закладывать основы представительной демократии, стремиться к сохранению и общества, и человеческой свободы, обеспечивать их «плодовитое единство».

Ключевые слова: Хуан Доносо Кортес, индивид, ассоциация, разум, свобода, представительное правление

© Василенко Ю. В., перевод, 2015

© Марей А. В., редактирование, 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* Перевод с испанского Ю. В. Василенко под редакцией А. В. Марей. Источник: *Donoso Cortés J.* (1904). *Lecciones de derecho político pronunciadas en el Ateneo de Madrid // Donoso Cortés J. Obras de Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas. Vol. III. Madrid: Editorial de San Francisco de Sales. P. 143–155.*

Перевод выполнен в рамках исследовательского проекта «Власть, доверие, авторитет: структуры порядка и категории описания социальной жизни», реализуемого Центром фундаментальной социологии в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году.

1. В оригинальном тексте: *De la sociedad y de gobierno*. Испанское *gobierno* на русский может быть переведено и как «правительство», и как «правление», что, очевидно, представляет собой две разные вещи. Наличие этой неоднозначности и одновременно невозможность во всех контекстах переводить это слово одинаково заставляют нас использовать контекстный перевод. — *Прим. ред.*

Господа!

Приглашенный правлением Атенео возглавить кафедру политического права я, не имея титулов, позволяющих претендовать на этот пост, принял это почетное назначение, лишь будучи уверенным в вашей благорасположенности.

Когда общества сотрясаются от революций, они отвлекают свои взоры от исчезающего прошлого и направляют их в будущее, которое борется за право осуществиться в этом мире. Люди повторяют судьбу институций: на людей прошлого смотрят с презрением, а людей будущего призывают на арену. Это тенденция всех обществ во время их кризисов и обновлений, это повторяющееся действие истории, и, как все действия, повторяющиеся в определенных обстоятельствах, оно опирается на человеческий разум. В самом деле, общество в революции испытывает неясное предчувствие чего-то нового, что родится и подчинит себе желания; и так как человечество всегда безусловно логично в своих интуициях, оно ищет новую идею, которая должна овладеть молодыми умами, словно надежду, которая — оно чувствует — рождается в его груди.

В том же причина и особой роли, которую играют молодые люди во всех революциях: для общества они олицетворяют революцию, и оно считает их своими пророками, пастырями и мучениками. Напрасно молодой человек проживет всю жизнь с идеями прошлого, впустую с горизонта его жизни исчезнут и иллюзии, и надежды; в период, который я описываю, в каждом молодом человеке общество будет почти всегда видеть всю молодежь, в молодежи — будущее, а в будущем — бухту, в которой корабль может легко переждать шторм. Напрасно человек иного века будет наделен интеллектом гибким и всеобъемлющим, впустую откроет он свой дух дыханию настоящего, зря проникнет своими взорами в пропасть будущего. Почти всегда общество увидит в нем лишь пошатнувшуюся колонну разрушенного храма, бесплодный интеллект, человека из прошлого. Поэтому, сеньоры, революции, которые всегда логичны, зачастую несправедливы, однако данная несправедливость мне на руку, так как у меня нет иных оснований для того, чтобы осмелиться обратиться к вам, кроме моей любви к наукам и моей молодости.

Если бы сиятельный публицист, который должен был занимать эту кафедру, был бы среди нас, я пришел бы как ученик, чтобы воспринять вдохновение его гения и красноречие его лекций. Поскольку же это уже невозможно, позвольте мне, по меньшей мере, воздать ему здесь почести, всегда подходящие величию его таланта и святости его бед².

Моя цель сегодня — раскрыть всеобщую теорию правления и особую миссию представительного правления.

2. Имеется в виду Антонио Алькала Галиано, вынужденный по политическим мотивам эмигрировать во Францию в 1836 году. Впоследствии он все же читал лекции по политическому праву в Атенео. См. подробнее: *Donoso Cortés J.* (1970). *Obras Completas de Donoso Cortés*. Т. 1 / Ed. C. Valverde. Madrid: ВАС. Р. 329. — *Прим. ред.*

Правительства не имеют собственной жизни, но лишь жизнь относительную, это не схоластические сущности, но исторические реалии; поэтому их не следует оценивать самих по себе, но лишь в их отношениях с обществом.

Любое правление есть действие, что означает, что правительство, которое не работает, прекращает быть: работать для правительства означает быть. Любое же действие, однако, имеет начало, откуда оно рождается, цель, к которой стремится, и то, над чем оно осуществляется, дабы достичь своей цели. Правление имеет свое начало и свою цель в обществе; то, над чем оно осуществляется, — это также общество. Таким образом, сеньоры, правление есть не что иное, как социальное действие, или, если угодно, само общество в действии.

Если это так, то мнение тех, кто считает правление вещь в себе, как бы предшествующей обществу, нелепо: что может быть абсурднее действия, лишённого начала, порождающего его, цели, к которой оно стремится, и того, над чем оно осуществляется? По той же причине нелепо и мнение тех, кто рассматривает общество как вещь в себе, независимо от правления, ибо что есть общество? Общество есть собрание индивидов, объединённых посредством взаимных упорядоченных отношений. Итак, где есть взаимные упорядоченные отношения между активными существами, имеется и общее действие, а где есть общее действие, есть и правление. Чтобы разрушить идею правления, необходимо разрушить прежде идею общества: эти две идеи нельзя разделить логично, пока не будет доказано, что социальное действие может существовать без общества, или общество — без действия. Теория общественного договора как истока правления — теория, не придуманная Руссо, но возвращённая им к жизни и популяризованная, есть теория исторически ложная и логически несостоятельная. Я особо остановлюсь на ней, когда буду анализировать принцип суверенитета.

Если общество есть начало, цель и пространство социального действия, персонафицированного в правлении, то оно и должно открыть нам тайну принципов, управляющих им, и законов, образующих его.

Любое общество состоит из индивидов, которые вступают в отношения между собой. Уничтожьте индивидов, и общество умрет. Оставьте индивидам жизнь, но разрушите объединяющие их отношения, и общество также умрет. Отсюда следует, что в обществе необходимо иметь в виду два различных элемента, т. е. закон индивида и закон отношений, или, что то же самое, закон ассоциации.

Человек признается разумным и свободным, находящимся в отношениях с Богом, с миром природы³ и с остальными людьми. Проанализируем, каково влияние на него каждого вида этих отношений, и рассмотрим, какие идеи последовательно отражаются на нем.

3. Здесь и далее как «мир природы» или как «природа» мы переводим словосочетание *el mundo fisico*, т. е. дословно «физический мир». Представляется очевидным, что Доносо Кортес использует прилагательное *fisico* в аристотелевском смысле, обозначая им все, что относится к природе, противопоставляя ему, с одной стороны, Бога, с другой — сферу социального, т. е. взаимоотношения между людьми. — Прим. ред.

В отношениях с Богом он смиряется и преклоняется, и если бы на него не оказывали влияние другие отношения, у него была бы лишь одна идея: идея долга. В отношениях с миром природы, не находя ни разума, отвечающего его разуму, ни свободы, ограничивающей его свободу, человек имеет лишь одну идею: его полное и абсолютное права; лишь одно ощущение — господства. В итоге, сеньоры, состоя в этих двух взаимосвязях, человек будет обладать двумя противоположными идеями: своего абсолютного рабства и своей абсолютной свободы. Царь земной и раб Божий, это существо будет неполным, искаленным человеком.

Но этот человек видит перед собой других людей, и отношения с ними конституируют и дополняют его. Его разум, благодаря которому человек понимает Бога, мир и самого себя, помогает ему понимать людей, окружающих и изменяющих его, осознавать, что они свободны и разумны, как и он. И тогда в святилище его сознания утверждается прогресс, т. е. революция.

В нем рождается идея одинаковости людей и, следом, — идея человечества. Его дух наделяет ее теми же качествами, что есть у него, приписывает ей те же права и обязательства, что конституируют идею отдельного человека. Он был рабом Божиим — человечество будет в рабстве у Бога. Природа принадлежала человеку — владычество над природой также будет принадлежать и человечеству.

Таким образом, у нас уже есть два первых и обязательных условия любой ассоциации — тождественность способностей индивидов, которые объединяются, и общий для них порядок идей. Если бы люди, вступающие в контакт, не признавали бы друг друга разумными и свободными, они не смогли бы объединиться; если бы, признавая друг друга разумными и свободными, они не имели бы общих представлений о своем праве на природу и своем долге перед Богом, они также не смогли бы вступить в ассоциацию, поскольку не имели бы общих уз, служащих основой любого общества. Это настолько ясно, что нет ни одного общества, не имеющего какого-либо культа, т. е. упорядоченного способа почитать Верховное Существо, и какого-либо правила для отделения себя от мира природы, реализуя тем самым свое право на господство и присвоение.

В итоге человек, который в своих отношениях с Богом и природой имел бы лишь идею безграничного долга и абсолютного права, в отношениях с другими людьми обретает идею равенства; она, в свою очередь, порождает в нем идею взаимных, то есть ограниченных прав и обязанностей. Когда эта идея укореняется в его разуме, человек становится существом совершенным, поскольку эта идея делает его сопричастным моральному миру. В самом деле, если права и обязанности должны быть взаимными и ограниченными, то необходимо найти правило их ограничения и взаимности, и это правило и есть справедливость, а справедливость есть весь моральный мир.

Все эти идеи являются последовательными лишь логически, исторически же они одновременны. Человек не создал общество, но родился в нем; и, будучи связан с остальными людьми, он в то же время был связан и с природой, и с Богом. Для того же чтобы объяснить эту сложную ситуацию, мне пришлось разложить ее

на составные элементы и проанализировать их, подчиняясь одному из обязательных законов понимания — закону логической последовательности.

Помимо всего прочего, этот анализ приводит к тому, что люди не смогли жить вне общества, поскольку не смогли отречься от своего разума, сделавшего общество необходимым; существование одного разумного существа логически предполагает существование многих разумных существ, потому что воображение не воспринимает разум, живущий только своей внутренней жизнью. Таким образом, там, где много разумных существ, существуют взаимные и упорядоченные отношения, так как невозможно предположить существование многих разумов, не вступающих между собой во взаимоотношения. Там же, где существуют взаимоотношения между разумными существами, логически и исторически существует общество; таким образом, общество имеет характер исходный и недатируемый, и человек его не создает⁴.

Если разум человека является причиной общества, то свобода человека обусловила необходимость правления для общества, однако эта новая идея нуждается в определенном объяснении.

Если мысленно разложить единство человека, то оно превратится в дуализм, состоящий из разума и свободы. Лишим человека второго и предоставим ему первое. Общество существовало бы в этом случае, как существует сейчас, и было бы столь же необходимо, как и сейчас. Разумы объединились бы благодаря силе взаимного притяжения, и объединились бы неразрывно; ибо что могло бы нарушить их согласие, когда оно и есть их закон? Такое общество, будучи как таковое неразрушимым, не нуждалось бы в правительстве, чтобы то сохранило его посредством своего действия, и тогда не было бы и правительства, в котором не возникало бы необходимости.

Но человек как существо разумное гармоничен и экспансивен, а как существо свободное он лелеет в своем сердце начала индивидуализма и сосредоточения на себе самом. Именно свобода формирует «я» и личность человека. Интеллект, разум сосредоточены в нем; однако они не являются его сутью и не создают человека. Человек постигает, что дважды два равняется четырем, но эта истина, будучи постигнутой и освоенной человеком, все же от него совершенно не зависит. Разум не является ни твоим, ни моим: он не умрет ни с тобой, ни со мной; он не умрет с человеческим родом, потому что живет вечной жизнью в лоне Божием. Но свобода! Свобода, сеньоры, есть человек, потому что она рождается, живет и умирает с ним. Не ищите ее в мире природы: ее там нет. Не ищите ее в мире разума: и там ее нет. Не ищите ее на небе: там ее тоже нет. Но ищите ее в человеке, и она вам ответит.

4. На протяжении всей первой части своей лекции, посвященной обществу, Д. К. последовательно развивает тезис о примордиальном характере общества по отношению к человеку, встраиваясь тем самым в традицию осмысления социальности, идущую еще от Аристотеля. По всей видимости, из его же философии Д. К. заимствовал принцип причинности. Однако среди ближайших предшественников Д. К., оказавших влияние на его социальную философию, следует назвать, по всей видимости, Ж.-Ж. Руссо и Г. В. Ф. Гегеля. — *Прим. ред.*

Изучим ее. Она едина, неразделима и непередаваема. Невозможно представить, чтобы человек разделил, передал бы или размножил бы свое «я»: любая из этих операций уничтожила бы его. Отсюда следует, что абсолютный и индивидуальный характер свободы противится любой ассоциации и не может образовать гармоничную целостность, состоящую из соподчиненных между собой частей, но лишь целостность абсолютную, независимую и неразделимую. Закон любой ассоциации коренится во взаимозависимости. Зависимость же воли нелепа по существу и противоречива по форме.

Итак, сеньоры, если разум человека есть начало гармоничное и социальное, то свобода — антисоциальное и тревожащее. Один разум привлекает другой, но одна свобода исключает другую. Закон разума есть слияние и гармония: закон свободы — разногласие и борьба. Подобный дуализм человека — тайна природы и проблема для общества. Ложная философия, пытаясь прояснить эту тайну, отрицает этот дуализм; ложная цивилизация, чтобы разрешить эту проблему, также отрицает его. И лжефилософы и лжезаконодатели утверждают: «Человек — существо разумное, но не свободное. Общество есть объединение всех разумов: вне общества нет ничего; индивидов нет, а если и есть, то они должны затеряться в недрах ужасного единства». Таким образом, бесплодный пантеизм — порождение философов, а деспотизм — беспомощных законодателей.

По мнению других лжезаконодателей и лжефилософов: «Свобода — единственный закон человека, свободный человек — центр творения: он не рожден для общества, но общество сформировалось для него. Человек — это царь». И далее: «Если его воля является его правилом, нет правила вне его; если нет правила вне его, нет и Бога, или, если он есть, то это человек». И что мы будем делать с таким Богом без солнц, которые бы его отражали, с этим царем без подданных, которые служили бы ему? Чтобы водрузить эти две короны на голову человека, было необходимо прежде уничтожить миры, на обломках которых одиноко стоит его гигантская сатанинская фигура, словно бы ангела разрушения.

Вместо того чтобы изучать человека, эти законодатели и философы решили обожествить его. Человек не нуждается в обожествлении в силу того, что он существует, но он нуждается в изучении и объяснении, в силу того, что он недостаточно познан. Поэтому рассмотрим его не с позиций, предлагаемых нам философией, а во всей его реальности.

Выше я сказал, что, если разум человека сделал необходимым общество, свобода человека показала необходимость правительства; это легко выводится из того, о чем я только что сказал. В самом деле, человек, абсолютно свободный, разрушил бы общество, которое его разум сделал необходимым, потому что свобода по своей природе растворяет любое объединение. Следовательно, общество нуждается в оружии для защиты от разрушающего его начала, и это оружие — правительство. Правительство правит, лишь действуя, поскольку, как я говорил раньше, для него быть означает действовать; и оно действует, лишь сопротивляясь разрушающему началу; следовательно, для правительства действовать означает сопротивляться.

Если правление является действием и если это действие есть сопротивление, то правление также является сопротивлением. Тезис о том, что сопротивление является законом правления тем более верен, что история не знает правления, которое бы не сопротивлялось: одни сопротивляются большинству, другие — меньшинству; но все они сопротивляются, потому что таково их назначение.

Разумеется, это сопротивление вполне определенного характера. Раз его цель состоит в том, чтобы защитить общество от вторжений человеческой индивидуальности, его действие не должно простираться за рамки действий, необходимых для предотвращения таких вторжений. Когда правление переходит эти рамки, оно перестает сопротивляться и начинает вторгаться, а любое вторжение — как общества в индивидов, так и индивидов в общество — это преступление. Когда вторгаются индивиды и добиваются успеха, общество погружается в анархию: когда же вторгается правительство и добивается в этом успеха, устанавливается деспотизм; если же оно не добивается успеха в своем вторжении, оно сталкивается лоб в лоб с революцией, которая становится его могилой.

Таким образом, у правительства, т. е. у власти, есть одно правило, стоящее над ним, которому невозможно сопротивляться; это правило очерчивает правительству границу, которую не следует переступать. Но что это за правило, что за граница?

Мы уже отмечали, что человек в отношениях с другими людьми признает их равенство и что идея равенства порождает в нем идею взаимных и ограниченных прав; эта идея, в свою очередь, порождает, с необходимостью, правило, подчиняющее себе их ограниченность и взаимность. Этим правилом является справедливость, неподвижная звезда на горизонте народов; она одна может указать нам, где заканчивается легитимное сопротивление правительства и в какой точке оно начинает искажаться, переходя от состояния сопротивления к состоянию вторжения.

Чего же требует справедливость? Справедливость требует сохранения всего существующего и, следовательно, в одно и то же время сохранения общества и свободы человека. Ведь если общество имеет права, благодаря которым существует, то человеческая индивидуальность также имеет права по той же причине. Следовательно, общество будет иметь право поглотить ту часть индивидуальности, которая необходима для его существования, а человеческая индивидуальность будет иметь право удержать всю ту часть свободы, в которой не будет нуждаться общество. Правительство, уполномоченное вершить справедливость посредством своего действия, будет действовать легитимно всегда, когда сопротивляется разрушению общества, подвергаемого угрозе со стороны человеческой свободы, и нелегитимно, когда станет ограничивать естественное развитие свободы человека после того, как обеспечит существование общества.

Из этого следует, что социальная проблема, которую правительство уполномочено решить посредством своего действия, следующая: если закон общества — это субординация и гармония, а закон индивида — независимость и свобода, то как

следует уважать человеческую свободу, чтобы она не расшатывала бы основания общества? Или, что то же самое, как следует охранять общество, не калеча человека?

Если правительство обязано разрешить именно эту проблему, то по различным вариантам решения, предоставленным ему, мы и должны будем судить о правлении, поскольку его создают не его формы, но характер и направленность его действия.

Потому в следующих лекциях мы проанализируем различные принципы, на которых основывается правление, не забывая никогда судить их и это правление по их склонности замедлять или ускорять решение этой проблемы. Ближайшую же лекцию мы начнем с разбора суверенитета; мы рассмотрим этот феномен в его развитии. Короли требуют его для себя: мы будем изучать основания, предъявляемые этими королями; народы тоже требуют его себе: мы рассмотрим и их основания; философы систематизировали эти принципы, сведя их в теорию: мы рассмотрим теории философов; наконец, суверенитет описан в различных конституциях: мы рассмотрим также и их нормы.

Этот же метод послужит нам в процессе анализа социальных и политических вопросов, которые мы должны будем разрешить. Бесплезно рассматривать какой-либо институт или принцип только с одной точки зрения; истина тогда неизбежно будет неполной, и в стремлении сделать ее абсолютной, мы санкционируем неполной истиной ошибку. Это наблюдение еще в большей степени применимо к политическим институтам, которые, будучи одновременно теориями, основанными на разуме, и историческими реалиями, должны изучаться одновременно и в свете разума, и в свете истории. Лишь когда история подтверждает то, что провозглашает разум, человек может сказать, что он нашел истину. Поэтому я не буду говорить ни об одной разновидности правления, не говоря одновременно о его логическом начале и его реальных последствиях, так как верю в солидарность, позвольте мне это выражение, философии и истории.

Вплоть до нынешнего времени философы классифицировали правление по его формам; мы сделаем это, основываясь на различных способах разрешения социальной проблемы, и эта классификация будет более ясной и глубокой.

Эта проблема имеет не более трех возможных решений: или общество должно поглотить человека, или человек должен поглотить общество, или общество и человек должны сосуществовать в состоянии устойчивой гармонии. Эти три решения характерны для трех различных типов: правления, основывающегося на безоговорочном подчинении и вере; правления, принимающего в качестве основы полное развитие человеческой личности; и правления, стремящегося гармонизировать закон индивида и закон ассоциации посредством их плодотворного объединения. Все эти три вида правления были известны в мире. Первый вид господствует на Востоке, где человек растворяется в обществе, общество — в Боге, а фоном для этой мертвящей теории служит великолепная природа. Второе родилось в Греции, где разрывается ужасное единство Востока: человек становится

гражданином, гражданин восходит на трон и, сидя на троне, общается с олимпийскими богами. Здесь, в конце концов, родилась свобода, и первые гимны, пропетые в ее хвалу, звучали на этих берегах. Затем появился Рим: его жизнь была битвой между поглощающим началом азиатских обществ и индивидуализмом греческого общества; между трибунами и патрициями: между Сенатом и народом. Восток был кладбищем, Греция — праздником, Рим — полем битвы. На этом поле воздвигла свой трон не победа, но смерть. Меч Мария⁵ смог отомстить трибунам: меч Суллы⁶ — патрициям; но ни первый не смог дать жизнь народу, ни второй — усилить Сенат. Республика была трупом.

В эпоху Империи ни одно из начал⁷ не доминирует и не сражается с другим, поскольку там их просто нет. Рим был публичным домом на службе императоров, и как любое общество, которое, не имея элементов реорганизации, должно умереть, Рим умер. Кто поднялся на оставленный Капитолий, чтобы возродить мир? Раса⁸, пришедшая с Севера, и религия, спустившаяся с небес.

Так завершается история античной цивилизации и начинается история цивилизации современной. Она породила представительное правление, которое развилось в Европе. Оно отличается от правления в обществах древности, которое или калечило человека ради сохранения общества, или ослабляло общество из уважения к человеческой индивидуальности, или сталкивало в смертельной схватке эти два противоположных начала. Представительное правление стремится уважать человеческую индивидуальность, не ослабляя при этом социальные узы, и сохранять эти узы, не калеча человека. Таким образом, классификация правления по его формам бесплодна, а классификация по его способам решения социальных проблем — напротив, философская и плодотворная. В одно и то же время она объясняет нам внутреннюю организацию правления и придает великолепное единство истории. В остальном же особый предмет этого курса — объяснить экономику представительного правления: мы уже знаем его направленность, все то, что не служит ему для ее реализации, и все то, что препятствует ему, для него чуждо, ему не принадлежит. В следующей лекции мы увидим, могут ли те, кто провозглашает

5. Гай Марий (ок. 157–86 гг. до н. э.) — римский полководец, политик, семикратно избиравшийся консулом. Д. К. приписывает Марию ограничение власти народных трибунов (*tribuni plebis*) в Риме, однако ошибается в этом. Знаменитый Корнелиев закон о власти трибунов (*Lex Cornelia de tribunicia potestate*) был издан диктатором Рима Луцием Корнелием Суллой в 80 г. до н. э. — *Прим. ред.*

6. Луций Корнелий Сулла Феликс (138–78 гг. до н. э.) — римский политик, полководец, диктатор Рима в 82–79 гг. Д. К. апеллирует к знаменитым проскрипциям, введенным Суллой, в ходе которых погибло большое количество сенаторов. — *Прим. ред.*

7. Т. е. начало общественное и начало индивидуальное. — *Прим. ред.*

8. Д. К. имеет в виду германцев. На первую треть XIX века приходятся оживленные историографические дебаты о роли германского элемента в основании нового мира, возникшего на руинах Римской империи. В некоторых работах германцы даже представлялись как особая раса, призванная спасти Европу. См., например, классическую работу Я. Гримма «Немецкие правовые древности», вышедшую за несколько лет до прочтения Д. К. данной лекции (Grimm J. (1828). *Deutsche Rechtsaltertümer*. Göttingen: Dieterich), работы основоположников т. н. «исторической школы права» и т. д. — *Прим. ред.*

его в качестве центра притяжения для Европы, не будучи непоследовательными, провозгласить знаменитый принцип суверенитета.

Таким образом, сеньоры, социальное движение должно всегда сопровождаться аналогичным движением в идеях, которые имеют три великих органа их явления в мир: пресса, кафедра и трибуна.

(Продолжение в следующем номере.)

Lectures on Political Right, Delivered at the Ateneo of Madrid. Lecture 1 (November 22, 1836): On Society and Government

Juan Donoso Cortés

Yuri Vasilenko (translator)

Associate Professor, National Research University Higher School of Economics — Perm

Address: Studencheskaya Str., 37, Perm, Russian Federation 614070

E-mail: yuvasilenko@hse.ru

In the first "Lecture on Political Right," which was delivered in Ateneo of Madrid in November 22, 1836, Juan Donoso Cortés formulates "general theory of government" and "special mission of representative government." Defining government as "social action," Donoso inextricably binds "the idea of society" and "the idea of government." Considering society as a collection of individuals linked by certain relationships, Donoso formulates two opposite in its effect laws: "the law of the individual," which determines the independence and freedom of the person, and "the law of association," associated with subordination and aimed at achieving social harmony. Person's ability to associate with other people makes him intellectual and free. An intellect as the harmonious principle creates a society; a freedom as the anti-social principle breaks down the society; hence, the government arises by the need to resist the freedom. And the most important idea of the lecture: "For the government to act means to resist"; to resist "the invasion of the human personality," but, following ethics and "the rule of justice," in any case not to suppress it completely. Demonstrating the liberal-conservative character of his political ideas, views and values, Donoso encourages young Spanish constitutional monarchy, which just begins to create the foundations of representative democracy, to conserve society and human freedom, to provide their "fruitful unity."

Keywords: Juan Donoso Cortés, individual, association, intellect, freedom, representative government

Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма*

Ирина Каспэ

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник ИГИТИ им. А. В. Полетаева НИУ ВШЭ,
старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ikaspe@yandex.ru

В статье исследуется «утопическая рецепция», т. е. возникновение и воспроизводство коллективных представлений об утопическом. Речь прежде всего идет о визуальном опыте, об «утопическом взгляде», под которым понимается особый социальный навык воспринимать и интерпретировать пространство, присваивая ему статус утопии. Так, определенная инерция зрения побуждает связывать визуальные материалы, относящиеся к десятилетиям социализма, с медийным конструктом «советской утопии». При этом особенно распространены две модели описания пространства, которые автор статьи условно определяет как «тоталитарное пространство» и «странное пространство». В статье подробно рассматриваются эти модели «утопического взгляда»: первая предполагает повышенную рационализацию и семиотизацию пространственных представлений, вторая — культивируемый смысловой сбой и аффективность; в первом случае пространство характеризуется при помощи метафоры текста, во втором — при помощи метафор сна или памяти. Опираясь на семиотический и одновременно пространственный анализ классических утопий, предложенный Луи Мареном, автор показывает, что пространство, увиденное «утопическим взглядом», перестает быть социальным: оборотной стороной конструирования идеального общества парадоксальным образом является блокировка любых intersубъективных отношений.

Ключевые слова: утопия, утопическая рецепция, утопический взгляд, городское пространство, семиотика, интерпретация, советская фотография, Луи Марен

В кадр, сделанный Ниной Свиридовой и Дмитрием Воздвиженским в середине 1970-х годов, попадают дома типовой застройки, теплая ветреная погода, растрепанные веселые школьники, занятые покраской футбольных ворот, и, кроме этой беспечной будничности, — едва различимая тревога, побуждающая увидеть территорию позднесоветского города как утопическое пространство (Ил. 1). Неочевидность и ненадежность подобного зрительского впечатления меня не только не смущают, но, напротив, интересуют. Коль скоро сомнительно, что моя готовность приписать фотографии утопическую ауру в данном случае будет поддержана кем-

© Каспэ И. М., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* В статье использованы результаты проекта «Городские образы в системах коммуникации: от XV к XXI вв.», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году.



*Ил. 1. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский.
«Бескудниковский бульвар, стадион школы № 244»*

то еще, — значит, такая «аура» не сводится к легко опознаваемым, закрепленным в культуре визуальным канонам. Но следует ли отсюда, что эти впечатления исключительно индивидуальны и ситуативны, что они не имеют никакого отношения к общему, социальному опыту?

Ниже мне хотелось бы проблематизировать основания утопического восприятия, прежде всего — утопического зрения: на чем основана наша способность различать утопию, где и как мы готовы ее видеть? каким образом рамка утопического накладывается на те или иные типы социального опыта?

Очевидно, что такое наложение может давать очень разные результаты, достаточно проследить за тем, как регулярно смещаются фокус внимания и предмет обсуждения в *utopian studies*. Если в середине XX века утопическое (и антиутопическое) часто оказывалось оптическим прибором, с помощью которого рассматривалась проблематика тоталитарной идеологии, то сегодня принято оспаривать этот взгляд, сдвигая политический ракурс восприятия утопии влево и утверждая, скажем, что ее гораздо оправданнее было бы привлечь к разговору о колониализме (Jameson, 2005: 202). Более того, сама традиция видеть в утопии оборотную сторону идеологии в последние годы если не отвергается, то, во всяком случае, существенно корректируется. Хрестоматийный «критицизм утопического мышления», который, согласно Мангейму, возникает в разрыве между утопией и доминирующими в обществе моделями описания реальности, поддерживающими актуальные

социальные порядки, может переопределяться, например, в терминах «ностальгии» (Baccolini, 2007: 159–190), и утопия всё чаще кажется подходящей метафорой для описания ностальгических эмоций и «ностальгических пространств». Отождествление утопической дистанции с ностальгической, конечно, опирается на специфичный именно для начала XXI века тип темпоральности. Подразумевается не просто консервативная мечта о «золотом» прошлом, но переживание настоящего как «постутопической» эры, эпохи существования на обломках «больших утопий» и в ситуации «утраченного будущего». Это тоска не столько о мире должного, сколько о мире, в котором категория долженствования еще была возможна. Но дело не только в этом — меняется и место утопического в структуре социального опыта: из области рационального и направленного вовне действия (критицизм) утопическое переносится в аффективную сферу «внутренних пространств» (ср. «пространство памяти», «пространство воображения»).

На пересечении разнообразных способов говорить об утопическом располагается тиражируемый современными медиа шаткий конструкт «советской утопии»: его методологические основания, как правило, остаются непроясненными, он вводится в разговор как нечто само собой разумеющееся, неизбежно принимает форму оксюморона («воплощенная утопия», или, в негативном варианте, — «нереализованная утопия») и, конечно, отличается излишней генерализацией. В визуальном плане этот безусловно неработающий конструкт связывается либо с устойчивым рядом определенных архитектурных объектов, в основном относящихся к 1930-м и 1950-м годам (проект Дворца Советов, ВДНХ, Московский метрополитен, «сталинские высотки», etc.), либо с некими общими формулами «утопического стиля» — «авангард 1920-х», «большой сталинский стиль», «минимализм 1960-х».

Если исходить из интереса к тому, как устроен утопический взгляд, в поле исследовательского рассмотрения попадут совершенно иные сюжеты. Вместо того чтобы присваивать тем или иным артефактам советского времени (или советскому времени в целом) утопический статус, придется задаться вопросом о том, как появляется инерция зрения, побуждающая видеть тут утопическое. В этой статье я попробую поработать с двумя самыми распространенными модусами описания урбанистического пространства «советской утопии» (они вовсе не обязательно противопоставляются друг другу, напротив — нередко смешиваются) — условно назовем их «тоталитарное пространство» и «странное пространство». Первый модус основывается на попытках «прочитать» город через призму рационального знания, то есть увидеть его во вполне определенных, хорошо известных контекстах — политических, исторических, социальных; метафора города-текста обычно оказывается в рамках этой оптики определяющей. В основе второго модуса лежит культивируемый смысловой сбой, остранение, экзотизация; не исключено, впрочем, что это лишь внешняя сторона сложного аффекта, который может обозначаться при помощи метафор сновидения или памяти. Я попытаюсь не столько деконструировать, сколько реконструировать подобные практики — последовать

за ними, чтобы выяснить, почему когнитивным триггером в обоих случаях оказывается отсылка к утопии и что стоит за такого рода отсылкой.

В этом мне помогут авторские фотографии последних десятилетий социализма. В 1960–1980-е годы профессиональная фотография существует в самых многообразных жанрах (от «социальной фотографии» до городского пейзажа), в самых многообразных регистрах (от драмы до сарказма). Она, безусловно, чувствует себя свободнее от официальных канонов и активно осваивает новые принципы съемки. Но отобранные мною кадры отличает от прочих не жанровая принадлежность, не общность приемов, а почти неverified эффект восприятия (причем не важно, насколько он задумывался и осознавался фотографом) — все эти снимки в той или иной степени обладают способностью казаться визуализацией утопического. Мне хотелось бы увидеть в этом эффекте не одно из возможных свойств фотографии как медиума, и даже не одно из возможных свойств позднесоветской фотографии (хотя подобные интерпретации представляются вполне допустимыми), но прежде всего — определенный визуальный навык, социальный опыт взгляда, который позволит прояснить, что такое утопия.

* * *

Итак, что все-таки мы имеем в виду, апеллируя к утопии? Где локализовано утопическое? Можно ли уловить особое «утопическое мышление», как предполагалось на ранних этапах *utopian studies*, или попытки сделать это неизбежно сведутся к описанию механизмов любой идеализации, вовсе не обязательно утопической? Можно ли говорить о специфике «утопических проектов», или в этом ракурсе всякое проектирование будет расцениваться как утопия? Том Мойлан и Раффаэлла Баколлини предложили рассматривать утопию скорее как «метод» и «видение» (Moylan, Baccolini, 2007: 13–24, 319–324). Примерно то же самое имеет в виду Фредерик Джеймисон, отличая малоинтересные ему «утопические программы» от рассеянных в повседневной реальности притягательных «утопических импульсов» (этот термин он заимствует у Эрнста Блоха (Jameson, 2005: 2–9)). Под утопическим здесь понимается уже не некое базовое свойство сознания, выражающееся в склонности проектировать идеальные общественные устройства, но сложный когнитивный аппарат, который позволяет работать с пограничными областями опыта (Джеймисон активно использует инструментарий психоанализа — «желание», «вытеснение», etc.), задается ресурсами языка и ограничивается его же возможностями.

Эта теоретическая оптика во многом сформировалась под влиянием работы французского семиотика и философа культуры Луи Марена «*Utopiques: jeux d'espaces*» (1973)¹ — отчасти эзотеричной и визионерской, но при этом задающей отчетливые, жесткие рамки для размышлений об утопическом. Рассматривая

1. Далее книга будет цитироваться в английском переводе: Marin, 1990.

утопическое как изобретение Томаса Мора и опираясь в своих рассуждениях на детальный разбор «золотой книжечки», Марен в первую очередь обращает внимание на ее название, из которого следует, что «утопия» — это «несуществующий топос» и «благой топос», но прежде всего это в принципе «топос», т. е. нечто определяемое в пространственных категориях. Место утопии невозможно, внеаходимо с точки зрения географии и истории, и в то же время утопический дискурс выстраивается при помощи географических и исторических координат. Утопия, по Марену, это «лакуна», резервная территория, необходимая при том характерном для Нового времени способе конструирования социальной реальности, который не оставляет «белых пятен» ни на географической карте, ни в исторической хронологии. Утопия — это «пространство без места» (Marin, 1990: 57).

Пространство утопии, как замечает Марен, локализуется исключительно в тексте, который о ней повествует. Точнее говоря, утопия и есть одновременно текст и пространство. Марен увлечен возможностью увидеть одно через другое — пространство, организованное как текст, и текст, организованный как пространство (Ibid.: 9). Сегодня, когда семиотика пространства (см. прежде всего: Линч, 1982) является признанным и даже несколько архаичным направлением гуманитарных исследований, такая возможность кажется очевидной, однако Марен подходит к проблеме не вполне привычным для нас образом: ключевым для него выступает размышление о референции.

Не удовлетворяясь тезисом «утопия не имеет референта», Марен считает необходимым уточнить, что она скорее «имеет отсутствующий референт» (Marin, 1990: xxi), — это различие для него принципиально. К утопии неприменимо, скажем, понятие референциальной иллюзии, которое (пост)структуралистская критика использует для анализа фикционального (а в некоторых трактовках — любого) нарратива. Согласно концепции «референциальной иллюзии», литературный вымысел имитирует отсылку к некоему «реальному» (находящемуся за пределами текста) референту, в действительности подменяя его конвенциональными знаками правдоподобия. Описание несуществующего острова, будучи заключенным в нарративную рамку травелога, запускает принципиально иной референциальный механизм — утопия указывает на то место, где должен был бы находиться референт, однако лишь затем, чтобы продемонстрировать пустоту этого места. Утопический дискурс отсылает к различным моделям пространства (географическое, политическое, историческое, etc.), но лишь для того, чтобы замкнуть референцию на себе самом — произвести пространство, единственным референтом которого может быть только сам текст. Таким образом, утопия начинает работать как «автономная референциальная система» (Ibid.: 58), фокусируя читательское внимание на знаковой природе дискурса, создавая и поддерживая эффекты «схематичного» письма, производящего впечатление карты, чертежа или — добавляет уже Фредерик Джеймисон — орнамента (Jameson, 2005: 44).

Чтобы прояснить специфику такого восприятия, потребуется вспомнить о другой стороне утопического: Марена явно больше интересует *ου-τοπία*, чем *ευ-τοπία*,

он гораздо охотнее размышляет о несуществовании утопического места, чем о его благодати. Но сделать следующий шаг и представить себе, как с семиотической точки зрения будет выглядеть абсолютное благо в этом автореферентном, герметичном пространстве-тексте, не так уж сложно.

Собственно говоря, подобный шаг позволяет понять, почему семиотическая логика оказывается в данном случае настолько уместной: утопия декларирует абсолютное торжество смысла. Утопическая универсализация и рационализация представлений о счастье предполагает, что достичь его можно, лишь вынеся за скобки всё, что кажется «непродуманным», «неразумным», «бессмысленным», иными словами — установив тотальный контроль над смысловыми ресурсами, признав правомерным лишь строго функциональное их использование. Путь к утопическому изобилию лежит через семиотический аскетизм, через устранение смысловых излишков, упразднение информационных шумов. Если бы такая декларация могла быть в полной мере реализована, результат представлял бы собой замыкание процесса смыслопроизводства, своего рода семиотическое «застывание» (метафора, которая так часто используется для описания утопии), оказались бы блокированы любые процедуры переноса значений, собственно создающие саму возможность языка.

В классической утопии, в особенности в «Утопии» Мора, такое стремление к фиксации смысла тематизировано через описание идеального коммуникативного механизма, почти не допускающего случайных сбоев, почти исключаящего риск непонимания. Язык утопийцев «превосходит другие более верной передачей мыслей», и даже музыка «весьма удачно изображает и выражает естественные ощущения; звук вполне приспособливается к содержанию... форма мелодии в совершенстве передает определенный смысл предмета» (Мор, 1953: 145, 214). Максимальное сокращение зазора между «содержанием» и «формой», означаемым и означающим, собственно говоря, подразумевает предельное сужение поля интерпретации и вытеснение фигуры интерпретатора. Жизнь на острове Утопия регулируется совершенно прозрачными и однозначными законами, принципиально не требующими никаких герменевтических усилий и никаких посредников: «Они решительно отвергают всех адвокатов, хитроумно ведущих дела и лукаво толкующих законы... У утопийцев законоведом является всякий. Ведь... у них законов очень мало, и, кроме того, они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще его толкование» (Там же: 176).

При этом и само описание утопического пространства эксплицитно следует столь же прозрачным законам — оно призвано быть понятным и функциональным, целиком подчиненным задачам каталогизации несуществующего мира и манифестации его норм. Собственно, описательность утопии, ее картографичность, на которую обращает внимание Марен (уточняя, впрочем, что утопический текст, конечно, включает в себя и элементы нарратива), — свойство особого коммуникативного режима, который, во-первых, автореферентен, а во-вторых, задается идеей производства «буквальных» значений, передающихся адресату «напрямую»

и не требующих от него толкования. По мере того как означающее совпадает с означаемым и исчезает интерпретативный зазор, их разделяющий, знак должен приобрести иконические свойства, стать аналогом схематичного рисунка или чертежа. Утопия — карта абстрактных понятий, демонстрация подобия когнитивных категорий пространственным.

Очевидно, что в центре этого режима — нереализуемая идиллия абсолютно успешной коммуникации, опирающаяся на представления об универсальности разума, об общих, свойственных человеческой природе принципах понимания и восприятия. Любые субъектные конструкции («персональная включенность», «уникальный опыт», etc.) этой идиллии чужеродны и для нее разрушительны, язык здесь говорит «сам собой» и в каком-то смысле сам с собой. На практике режим «буквальности» легко переворачивается, превращаясь в свою противоположность, — утопические тексты нередко подозреваются читателями в «двойном дне», в скрытой иронии, требующей воспринимать «благое место» с точностью до наоборот — как «проклятое». Собственно, антиутопия как литературный жанр начинается с демонстрации распавшегося языка, в котором ни один смысл не является буквальным, все значения подвергнуты инверсии («Война — это мир. Свобода — это рабство»), означающие полностью оторваны от своих означаемых и уже не могут ничего означать. Соответственно, еще один распространенный тип читательской реакции на утопический текст — замешательство: взгляд улавливает означающие, смысл которых нельзя считать, код к которым утерян (или спрятан; так возможность толкования сна спрятана в сознании сновидца). Утопическое начинает восприниматься как непроницаемый набор знаков, лишившихся своей семиотической природы, — как орнамент.

* * *

Таким образом, возвращение к размышлениям Марена позволяет задать исходные параметры разговора об утопическом взгляде. Этот взгляд (как и любые современные практики, которые определяются как утопические) — результат *рецепции* классической утопии. Понятийный аппарат семиотики, при всей его герметичности, окажется незаменимым, если мы попытаемся выяснить, как все-таки совершается окончательное превращение текста в пространство, как визуализируется читательский по своему происхождению опыт, как он переносится на восприятие невымышленного города.

Последователи Марена, пытавшиеся применить его теорию к *urban studies*, связывали утопию преимущественно с проблематикой картографирования, панорамирования и проектирования, с возможностью удерживать в поле зрения город как некий единый проект. Так, Мишель де Серто обнаруживает, что утопический взгляд задается специфическим городским ракурсом — панорамным обзором с «высоты птичьего полета». Это взгляд стороннего наблюдателя и верховного божества, всеведущий и игнорирующий детали, не замечающий реальные городские

практики. Такой тотализирующий ракурс, в котором город предстает как «спланированный и читаемый», как «ясный текст», де Серто противопоставляет опыту «обычных пользователей города», пешеходов и фланеров, своими телами пишущих иную, частную, фрагментированную, множественную городскую историю (де Серто, 2013: 185–188).

Мне хотелось бы оттолкнуться от теоретической модели города-текста, но попробовать поговорить об этом в менее метафоричном ключе. Итак, можно ли в принципе обнаружить следы утопической рецепции в советском городском пространстве? Не сомневаюсь, что специалистам удалось бы проследить влияние принятых способов изображения утопии — иллюстративных и кинематографических канонов — на те или иные советские урбанистические проекты. Однако прямо эксплицирована утопическая рецепция была, пожалуй, только единожды — в проекте «монументальной пропаганды».

Со слов Луначарского известно, что Ленина вдохновили стены кампанелловского Города Солнца, своего рода образцовый гибрид города и книги: «все достойное изучения представлено там в изумительных изображениях и снабжено пояснительными надписями» (Кампанелла, 1947: 34). Согласно воспоминаниям Луначарского, Ленин произносит по этому поводу следующий монолог:

«Давно уже передо мной носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу. <...> Я назвал бы то, о чём я думаю, монументальной пропагандой. Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю, главным образом, о скульпторах и поэтах. В разных видных местах на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма, также, может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или другому великому историческому событию. <...> Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно. <...> О вечности или хотя бы длительности я пока не думаю. Пусть всё это будет временно. Ещё важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы» (Луначарский, 1968: 198).

Известно также, что в процессе реализации этот план довольно активно критиковался, да и сам Ленин не был удовлетворен результатом, многие замыслы остались неосуществленными, а осуществленные действительно по преимуществу оказались недолговечны, — но, несмотря на всё это, проект монументальной пропаганды имел существенное значение для формирования урбанистического стиля, который позднее будет назван «большим». Для нашей темы здесь прежде всего важно, что была задана особая оптика, особый взгляд на город.

«Ленин хотел, чтобы во всё еще неграмотном обществе появились города, которые говорят», — замечает один из исследователей «советской утопии» (Stites, 1989: 89). Метафора говорящего города мне представляется очень точной. Голос про-

паганды здесь не локализован, он как бы растворен в пространстве, камни из стен не возопиют, но будут произносить «коренные принципы и лозунги марксизма».

Разумеется, основная задача, для которой предназначалась монументальная пропаганда, была изобретена гораздо раньше и активно решалась во времена Французской революции — присвоение пространства, прежде всего через стирание и переписывание прошлого. Хрестоматийный пример — конечно, затертые царские имена на Романовской стеле, поверх которых наносился список героев новой истории, в их числе, кстати говоря, Томас Мор и другие классики-утописты. Подробно об этой функции надписей в советской урбанистической культуре пишет Владимир Паперный (Паперный, 1996: 234–235).

Однако есть и другой, хотя и менее выраженный эффект — стирание самого городского пространства: оно отесняется текстом на второй план, становится фоном, сценой для «крепко сколоченных формул», для разворачивания гигантского учебника (новой) жизни. Директивность этих формул не направлена на организацию городских маршрутов (как в случае названий улиц, вывесок, указателей, информационные табло (де Серто, 2013: 202–204)), не является порождением городских практик (как в случае рекламы или афиши). Она вообще как бы «не замечает» город, никак не привязана к нему, скорее напротив — привязывает город к себе (например, используя горожан для торжественного перемещения транспарантов и плакатов на праздничном шествии).

В скульптурной части проекта монументальной пропаганды тоже доминирует вербальность — невыразительные (часто неказистые) бюсты и памятники из гипса и бетона требовали нарративного сопровождения и по замыслу предполагали разнообразные формы разъяснительной работы (митинги на открытии, экскурсии, etc.).

Торжество визуальности, характерное для второй половины 1930-х годов (об этом, напр.: Орлова, 2006: 188–203), бравурное возвращение мрамора, гранита и позолоты в каком-то смысле лишь усиливает семиотизацию городской среды — архитектура этих лет часто оценивается урбанистами как «нарративная».

Общий контекст здесь, конечно, задается заработавшей в полную мощь машиной «социалистического реализма», которая неоднократно рассматривалась исследователями как своего рода референциальная инверсия: в то время как декларативно соцреалистическим произведениям предписывалась задача отражения жизни, они почти незаметно для реципиентов начинали играть роль «подлинной» (нормативной) реальности, гораздо более реальной, чем повседневный опыт. Собственно, как раз такого рода эффект Мангейм называл идеологией, однако в посвященных соцреализму исследованиях часто используется еще и интересующая нас метафора утопии (Добренко, 2007), для Мангейма несовместимая с позицией власти. Так или иначе, центральное место в соцреалистическом проекте принадлежало литературе, именно она диктовала модели и образцы восприятия, в том числе и городского пространства, превращая его в «спланированный и читаемый текст».

Паперный цитирует редакционную статью из журнала «Архитектура СССР» за 1936 год: «Формалистический подход к архитектурной работе ведет к тому, что, несмотря на множество пускаемых в ход архитектурных мотивов, украшений, деталей и т. п., образ здания не поддается ясному прочтению, оказывается запутанным, зашифрованным, непонятным», — и заключает, что под формализмом здесь понимается «такая форма, сквозь которую неясно проступает вербальное содержание» (Паперный, 1996: 226). Для нас важно подчеркнуть, что «нарративизация» в данном случае подразумевает утверждение единства содержания и формы, означающего и означаемого, т. е. устранение механизмов интерпретации как таковых — сообщение должно считываться «напрямую», безо всяких «шифров», всё «непонятное» объявляется информационным шумом и подлежит устранению.

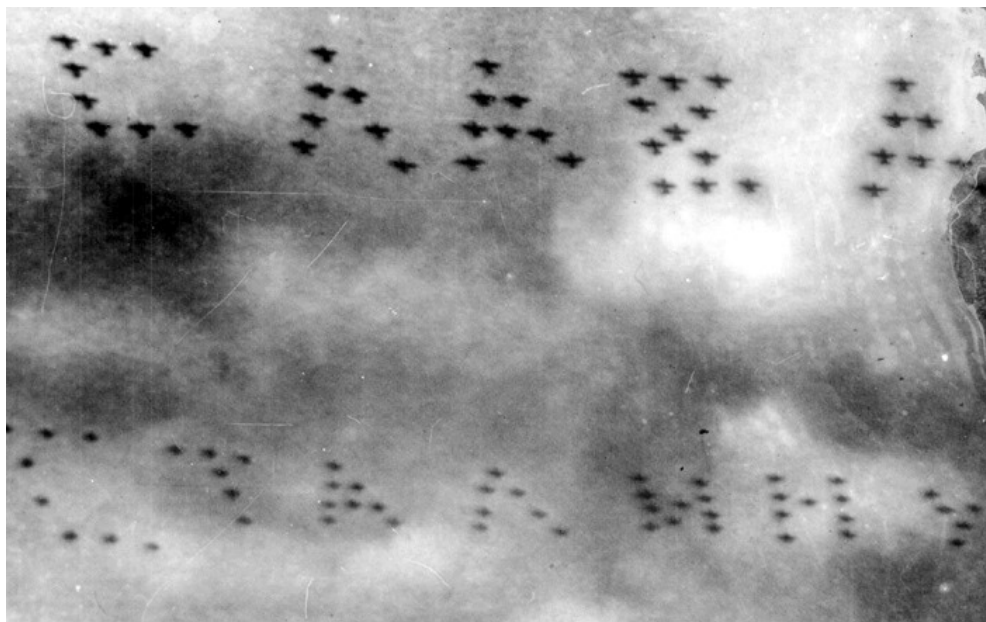
На практике такая табуированность интерпретационных процедур, конечно, приводила к возникновению сложной герменевтической культуры, или, точнее, к характерному герменевтическому неврозу — к стремлению предугадать и обезвредить все возможные интерпретации, к бесконечному перетолковыванию, уточнению, переописанию любого слова, произнесенного с позиции нормы². «Утверждение часто значит то же, что и обратное утверждение», — замечает Паперный, пытаясь описать те специфичные способы коммуникации, которые возникают в 1930-годы: слова утрачивают устойчивые и определенные значения, начинают отсылать к тому, что смутно ощущается, но остается «принципиально невыговариваемым» («попытки выговорить это невыговариваемое приводят... к отторжению или даже к гибели выговаривающего»), — в конечном счете приобретают «незнаковый характер» (Там же: 232).

Интересно посмотреть, что при этом происходит с «выразительными надписями», входившими в пропагандистские замыслы Ленина: они становятся неотъемлемой частью советского города, однако теперь, по наблюдению Паперного, «врастают в гранит и мрамор», переставая выполнять какие бы то ни было информационные функции:

«Это, как правило, тексты, хорошо известные каждому жителю страны, — таковы, например, знаменитые „шесть условий“ Сталина в проекте Завода им. Сталина братьев Весниных (1934), статья из конституции на станции метро „Измайловская“ (ныне — „Измайловский парк“), строчки из гимна на станции метро „Курская“... Вместо временных лозунгов появляются „вечные слова“, которые все больше срastаются с архитектурой» (Там же: 235–236).

Парадоксальным образом «содержанием» здесь является скорее архитектурный материал, поверхность, на которую наносятся слова (в терминологии Паперного — «материальный носитель информации» (Там же: 235)), тогда как сами слова всё чаще оказываются «формой», всё больше орнаментализуются.

2. Как показал Алексей Юрчак, своего апогея эта гипертрофированная герменевтика достигает уже после смерти Сталина — единственного полномочного интерпретатора: Yurchak, 2006: 10–11.



Ил. 2

Пожалуй, кульминацией и своего рода пределом пропагандистского симбиоза пространства и текста становится ритуал, принятый для ежегодных авиационных парадов, — над Тушинским аэродромом появляется составленное из нескольких десятков самолетов имя Сталина (Ил. 2). Принцип единства содержания и формы воплощается тут в такой полноте, что сложно отличить одно от другого («Слово „Сталин“ могло составляться в небе только из „сталинских соколов“» (Там же)); эти начертанные на небе письма не случайны, не окказиональны, их символическое значение настолько велико, что они присваиваются небу «навечно» — небо становится частью городского пространства, в трехмерной монументальной книге не остается чистых, неисписанных страниц, ни одного свободного «носителя».

Фотографии последних советских десятилетий фиксируют этап, когда текст «отрывается от архитектуры» (Там же: 236), а означающее — от означаемого. Монументальная пропаганда плывет над городом на световых табло или прикрывает обветшалые фасады. Мы видим в разнообразных ракурсах надпись «СССР» на проспекте Калинина (Ил. 3. «Эти фантастические огневые надписи, непонятно кем и для кого зажженные, как бы чудом появившиеся на стенах домов, заставляют вспомнить о перстах, писавших на стене дворца царя Валтасара: „МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН“» (Там же: 233)³). Или напряженные, угрюмые лица на фоне надписи «МИР» — случайный осколок мира, задворки праздника, урна-птенец

3. Цитируя Паперного, я намеренно игнорирую ключевое для него противопоставление «культуры 1» и «культуры 2» — эта всё же очень схематичная концепция плохо работает на интересующем меня сейчас материале (и исследование самого Паперного это подтверждает).



Ил. 3. Виктор Ахломов. «Проспект Калинина. Москва» (1977)



Ил. 4. Владимир Соколаев. «Первомайская демонстрация в Кузнецком районе. Площадь Ленина. Новокузнецк. Кузбасс. Сибирь» (1983)

с распяленным ртом, заткнутым выброшенными цветами (Ил. 4). На более известной фотографии из того же цикла немолодая женщина несет на демонстрацию «СЧАСТЬЕ», как будто бы слегка ссутулившись под тяжестью этого креста. Нам предъявлен собственно момент разрыва между текстом и городским пространством (между «говорящей» пропагандой и глухой кирпичной стеной), момент смещения означающего: бесприютная табличка «счастье» попадает явно не в тот кадр, для которого была предназначена, теперь ее означаемое — безнадежная старость (Ил. 5). Социальная фотография здесь неожиданно сближается с концептуальным искусством (см.: Groys, 2004), демонстрируя работу с идеологическими симулякрами в духе Эрика Булатова (Ил. 6).

Впрочем, на фотографиях позднего социализма различимы и другие следы ленинской зачарованности фресками Города Солнца. Плакаты с гигантскими лицами идеальных советских людей (Ил. 7) или классиков марксизма, или самого Ленина, попадая в кадр, действительно кажутся фресками или театральным задником, превращающим город в сцену и лишаящим его объема (заметим в скобках, что Луи Марен прослеживает театральную этимологию утопии, сравнивая утопическое замкнутое пространство со сценическим (Marin, 1990: 61–84)). Всё, что изображено на этих декорациях, — тоже уже своего рода иконические знаки с утраченными (ну, или по меньшей мере размытыми) означаемыми: канонический орнамент власти, на фоне которого люди выглядят маленькими. Усиливая контраст, фотографы часто снимают в этом ракурсе группы детей — почти как у Кампанеллы — в сопровождении учительницы (Ил. 8, Ил. 9).

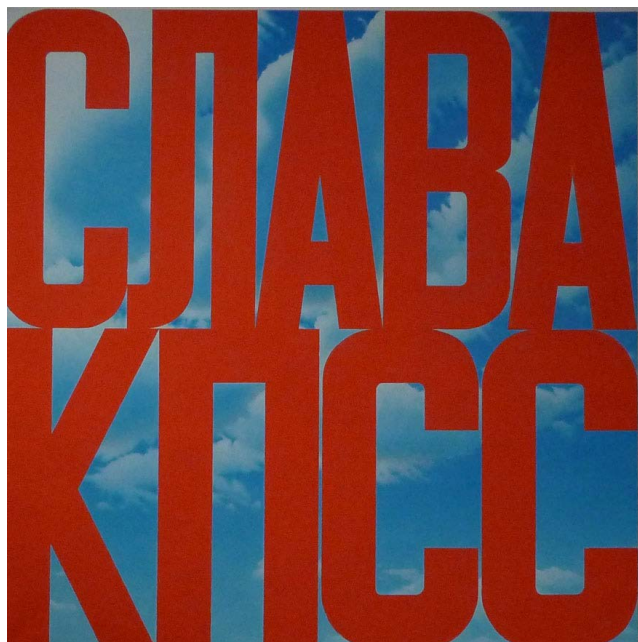
Очевидно, что эти гипертрофированные плакаты наследуют масштабным панно времен «большого стиля»⁴ и что размер здесь надо «прочитывать» в соответствии с принципом единства содержания и формы — великое и высокое означаются исключительно через величину и высоту. В этом смысле характерен принятый в советской культуре взгляд на храмовую архитектуру как на намеренно подавляющую «маленького человека», заставляющую его почувствовать себя ничтожным. Но если допустить, что это чувство было взято из совсем другого опыта — из повседневного опыта самих носителей культуры, можно предположить также, что оно не исчерпывалось подавленностью и, конечно, включало в свой сложный состав и ликование, и экстаз, и благоговение. Гигантизм здесь был призван не только подавлять, он обладал безусловной притягательностью — одну из возможных причин этой притягательности я бы определила как «производство пространства».

Не исключено, что тотальная, директивная и герметичная текстуальность в советской традиции компенсировалась риторикой «открытых просторов» (от широты родной страны до бескрайности космоса) — созданием символических мест для всех, кому «некуда жить». Вспухающие высотные здания, гипертрофированные человеческие тела и лица на плакатах и панно поддерживают иллюзию ра-

4. О фотопанно в натуральную величину — Орлова, 2006: 202.



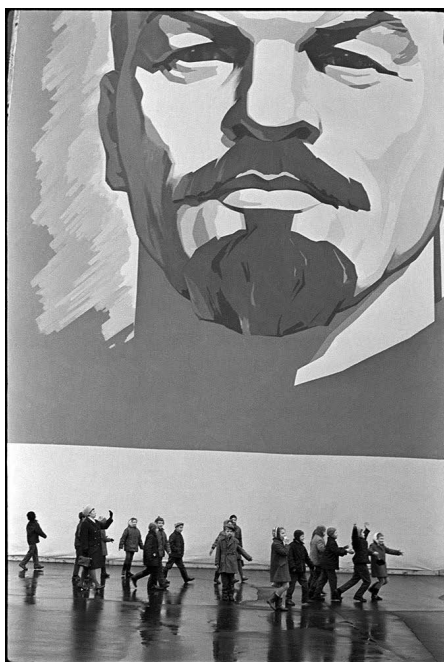
Ил. 5. Владимир Соколов. «Женщина с плакатом спешит на Первомайскую демонстрацию. Новокузнецк. Кузбасс. Сибирь» (1983)



Ил. 6. Эрик Булатов. «Слава КПСС» (1975)



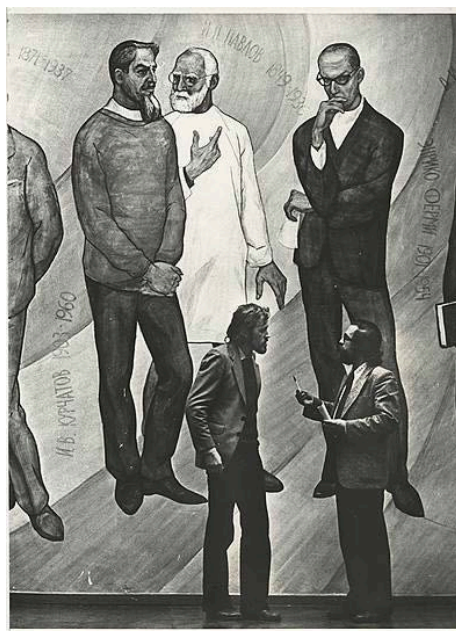
Ил. 7. Игорь Палмин. «Москва. Площадь Свердлова» (1981)



Ил. 8. Фотограф Владимир Сычев



Ил. 9. Фотограф Павел Маркин



Ил. 10. Виктор Лангранж. «Физики» (1967)

стущего как на дрожжах пространства, явно перерастающего рамки «наличного мира» и предоставляющего, таким образом, ресурс для всевозможных проективных конструкций («светлое будущее», «грандиозные цели», etc.).

Именно через такое «производство пространства» на фотографиях 1960-х годов вводится временная перспектива, преисполненная оптимизма. Так, на снимке Виктора Лагранжа пространство «большой науки» за спиной спорящих физиков провоцирует желание продолжить рекурсию и увидеть современников фотографа взглядом из будущего — разумеется, светлого (Ил. 10). На фотографии Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой «У монумента» собственно монумент превращается в дорогу, устремленную в небо, по которой предстоит взбираться грядущим поколениям (Ил. 11⁵).

И именно перевернутое, отраженное, автореферентное, окончательно утратившее реальность пространство монументальной пропаганды попадает в самом конце Перестройки в кадр Игоря Гаврилова (Ил. 12), сопроводившего свою работу следующим комментарием: «6 ноября 1990 года, задание журнала „Тайм“ — снять оформление города перед 7 ноября. Это последнее 7 ноября, когда прошла коммунистическая демонстрация. Кадр был напечатан в „Тайме“ и потом он вошел в лучшие фотографии года в Америке — здоровая книга, она у меня есть. А завтра уже ничего не стало. Все, последняя демонстрация, последний парад. Абзац».

* * *

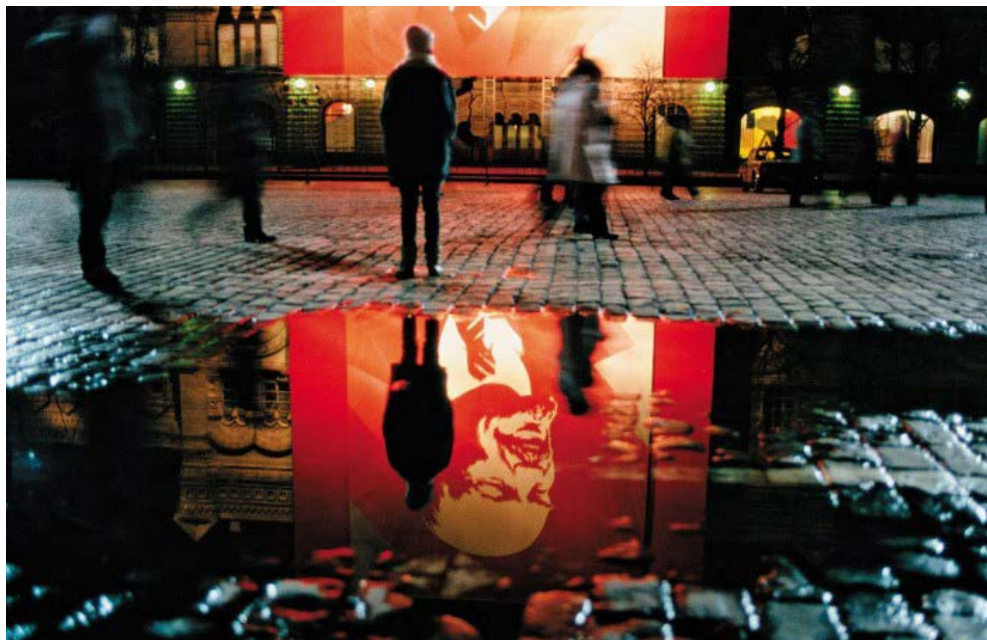
Механизм монументальной пропаганды был приведен в действие работой читательского воображения, утопической рецепцией — этот факт не означает, что ленинский проект следует считать «осуществленной утопией», но позволяет лучше понять происхождение представлений о «советском утопизме». На разных этапах реализации (в том числе и тогда, когда утопическое находилось, по сути, под официальным запретом) этот проект, безусловно, создавал условия для утопического взгляда — город начинал восприниматься как «носитель информации», как пространство в котором разворачивается «спланированный и читаемый текст». Текст постепенно «вращается» в городское пространство и «отрывается», «отслаивается» от него впоследствии, на закате проекта, — за этими визуальными метафорами стоит характерный для утопии интерпретативный сбой, когда декларативное стремление к тотальной ясности оборачивается утратой смысла.

Дальше мне хотелось бы привлечь внимание к другой утопической рецепции, которая остается за пределами тотального взгляда, описанного де Серто. В исследовании пространства наиболее влиятельная линия размышлений о возможно-

5. Любопытно, что эта безусловно «нарративная» фотография имеет литературный прототип — ср. описание «памятника первым людям, вышедшим на просторы космоса» в утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»: «Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолётом старинного типа — рыбообразной ракетой, нацелившей заострённый нос в ещё недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга, с невероятными усилиями карабкалась вверх» (Ефремов, 1958: 69).



Ил. 11. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский. «У монумента» (1970)



Ил. 12. Фотограф Игорь Гаврилов (1990)

сти подобного «другого взгляда» связана с концепцией «гетеротопии», предложенной Мишелем Фуко. «Гетеротопия» — обретшая место утопия — определяется им как промежуточное пространство между приватной и публичной сферой, которое обладает специфическим потенциалом маргинальности, ненормальности, здесь сосредоточен некий заряд сомнения по отношению к конвенциональным нормам, переворачивания привычных порядков (см.: Бедаш, 2010). Эта концепция, впрочем, признается специалистами слишком бегло изложенной, слишком противоречивой и туманной, а попытки ей следовать нередко оборачиваются апологией ускользающих «странных пространств» (Харламов, 2010).

Однако далеко не всякое странное, пограничное, экзотическое пространство мы готовы будем воспринять как утопию. Здесь вновь понадобится теоретическая помощь Луи Марена: он полагает, что утопия — не только необычное, но прежде всего «нейтральное» пространство. Идея нейтральности утопического, возможно, наиболее важна для самого Марена и наиболее загадочна для его читателей. Он пытается объяснить ее то через метафору нейтрализации (утопия нейтрализует противоположности, застывая на «нулевом градусе» диалектического синтеза и обнаруживая позицию, не приближенную ни к одной из полярных категорий — кантовский «средний термин» (Marin, 1990: xiii)), то через метафору нейтральной территории: «Нейтральность — это порог, граница, устанавливающая предел внутреннему и внешнему, территория, где выход и вход меняются местами и фиксируются в этом изменении; это имя всех границ, заданных через мышление о границе: контрадикция как таковая» (Marin, 1990: xix).

Интуитивно понятно, что утопия не допускает не только семиотической, но также (и это, конечно, связанные вещи) эмоциональной чрезмерности (не случайно один из постоянных мотивов в научной фантастике, в том числе советской, — безэмоциональность людей будущего). Репрезентируя беспредельное счастье, утопический текст вряд ли способен вызвать у своих реципиентов бурный, непосредственный восторг, чаще всего он вызывает скуку (Ruppert, 1986: 11), однако Марен улавливает еще и чувство утраты, сопутствующее восприятию утопического. Он связывает загадочную нейтральность с не менее загадочной концепцией утраченной памяти — утопическое реализуется через забвение, через вытесненную неудачу, через репрессированное знание о том, что «вечное счастье» достижимо лишь ценой смерти времени (в конечном счете — просто ценой смерти) (Marin, 1990: xxvi). Более того, само забвение предается забвению, коль скоро классическая утопия манифестируется как пространство монолитной ясности, в принципе исключающее возможность неполноты памяти.

Впоследствии метафора амнезии оказывается чрезвычайно важна для utopian studies. С ней активно работает Джеймисон, прежде всего развивая тезис о том, что утопия забывает о собственной невозможности, что всякие попытки вообразить идеальный мир основываются на неразличении неизбежных препятствий, неизбежных пределов воображения. Но в нескольких местах Джеймисон вскользь упоминает и о другом забвении, или, точнее, о страхе забвения, который воз-

никает при столкновении с утопическим. «Благое место» предполагает отказ от опыта негативности, но удастся ли отграничить негативный опыт от собственно-го «я», выделить его в общем потоке памяти? Утопия, согласно Джеймисону, внушает тревожные подозрения, что в ее дистиллированном воздухе *весь* наличный опыт будет стерт, а идентичность — полностью утрачена, что мы «не найдем себя» в идеальном мире (Jameson, 2005: 97; Джеймисон, 2012).

Строго говоря, Марен и Джеймисон описывают один и тот же страх — страх несуществования, и, кажется, он имеет отношение к бессубъектности утопического, о которой шла речь выше. Мы никогда не можем окончательно найти, персонализировать тот голос, которым говорит утопическое, этот голос распознается как директивный, однако не так-то просто ответить на вопрос, откуда исходит указание — кто предлагает нам считать жизнь на вымышленном острове идеальным социальным порядком? С чьей точки зрения этот порядок — абсолютное благо? Вроде бы так утверждает путешественник Рафаил Гитлодей, но на протяжении своего рассказа как-то колеблется в оценках. Можно было бы приписать подобную точку зрения его собеседнику, эксплицитному автору книги, — но и он подчеркнуто «нейтрален». Вероятно, из идеи абсолютного блага исходил Утоп, основатель острова, но его мнения на этот счет мы никогда не узнаем.

Иными словами, нам предъявлен некий объект желания, однако мы не понимаем, *чье* желание таким образом реализуется. Чтобы последовать за утопией, необходимо принять это желание за свое собственное. И здесь, конечно, можно обнаружить ставящийся под сомнение постмарксистскими исследователями, в том числе, с определенными оговорками, и Джеймисоном, тоталитарный потенциал утопического, если считать проявлением тоталитарности не просто насильственное требование исполнять властную волю, но в первую очередь требование признавать эту волю своей. В этом смысле утопия — в самом деле выморочное, промежуточное пространство между «внутренним» и «внешним», оно одинаково закрыто и для субъектности, и для интересубъективности — это пространство, где все персональные желания и фантазмы принимают абстрактную нормативную форму, преподносятся как универсальный закон, как «общее благо» (отчасти об этом — Jameson, 2005: 76).

Сновидческий опыт, с которым иногда сравнивают утопию, сопряжен с аналогичным замешательством — с невозможностью точно установить, «внутренними» или «внешними» обстоятельствами этот опыт задан, чьим голосом говорило с нами сновидение и было ли оно в принципе «посланием», нарративом, и подлежит ли пространство сновидения реконструкции средствами памяти, и главное — оставался ли сновидец собой внутри сна, *оставался* ли он вообще.

Такого рода «странное пространство» — возможно, сновидческое, возможно, утопическое — мы видим на фотографии Игоря Палмина (Ил. 13): контрастное освещение, длинные тени и похожие на тени силуэты людей, расходящиеся в центробежном движении, тревожащий взгляд девочки, устремленный в камеру, и об-

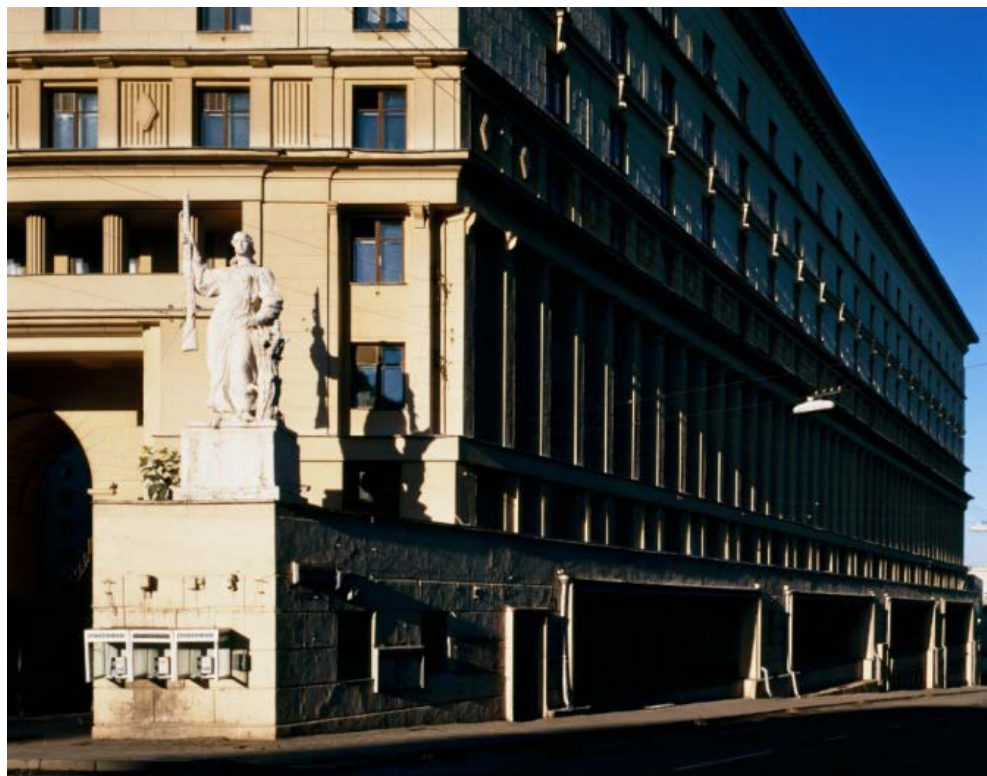


Ил. 13. Игорь Палмин. «Закаменск, Бурятия» (1980)

щее ощущение пустотности, незавершенности воспоминания — как будто был восстановлен лишь общий контур картины, а частные детали оказались забыты.

«Пустотность» — еще одно важное для Марена слово, позволяющее ему описывать устройство утопического текста и утопического пространства и помогающее нам чуть ближе подойти к ответу на вопрос об устройстве утопического взгляда. Конечно, такой взгляд в значительной мере настроен на различие «пустых» территорий — он фиксирует отсутствие тесноты, захламленности, любой визуальной избыточности (а избыточным, как мы помним, здесь будет считаться «нефункциональное», или, что в данном случае то же самое, — «непонятное», то есть неподдающееся семиотическому контролю). Марена, безусловно, завораживает образ утопии как белого пятна, незаполненного пролома в плотной конструкции социальной реальности, таинственной брешки забвения, однако присутствие пустотных пространств в утопическом визуальном каноне можно описать и как своего рода семиотическую анемию, связанную с той блокировкой каналов смыслопроизводства, о которой уже говорилось.

Эту анемию и амнезию (то есть в любом случае ограниченность смысловых ресурсов) классическая утопия компенсирует за счет механизма повтора: Марен замечает, что регулярность, цикличность, создание и воспроизводство копий — ключевое свойство утопического текста и утопической образности. Когда Рафаил



Ил. 14. Игорь Палмин. «Здание на Яузском бульваре»

Гитлодей отказывается описывать все пятьдесят четыре города идеального острова и ограничивается только одним, мотивируя это тем, что остальные точно такие же («Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга» (Мор, 1953: 112)), он, конечно, экономит ресурсы — не только повествовательные, но ресурсы воображения, и речь сейчас идет, разумеется, не о литературных способностях Томаса Мора, а о специфике задачи вообразить утопию. Различные формы визуализации принципа повтора — унификация, симметрия, метрический порядок в архитектуре, ритмичная игра света и тени, etc. — особенно в сочетании с «пустотой» пространства, могут с высокой долей вероятности спровоцировать восприятие этого пространства как утопического. Подобным образом можно посмотреть, например, на еще одну фотографию Палмина — своего рода этюд на архитектурную тему, подчеркивающий «классичность» большого сталинского стиля и безлюдность, безжизненность города, словно от человеческой цивилизации здесь остались лишь воинственные каменные изваяния и пустые телефонные будки (Ил. 14).

Перспективу увлечься утопией Джеймисон сравнивает с увлеченностью конструктором Lego. То, что принято называть «утопическим воображением», дей-

ствительно больше всего похоже на сборку маленькой модели мира из однотипных деталей (или складывание слова «вечность» из кубиков льда). Наше восприятие утопического текста не предполагает, скажем, сопереживания и идентификации с персонажами. Здесь невозможен литературный герой — «характер» или «действующее лицо» — поскольку (ну, или наоборот, «и поэтому») невозможен сюжет; собственно говоря, появление сюжета превращает утопию в антиутопию. Обитатели классических утопий вместе образуют своего рода коллективного персонажа (Marin, 1990: 56; Джеймисон, 2012), что-то вроде хора в античном театре (Marin, 1990: 68–69) — принцип повтора, производства копий реализуется и на этом уровне. Антиутопическая традиция интерпретирует такого коллективного персонажа через конструкции «обезличивания», «единомыслия», «деперсонализации», «дегуманизации», через метафоры маски и униформы, через образы управляемой толпы — но, возможно, политическая тревога тут скрывает более глубокий утопический страх забвения себя, несуществования, смерти.

Распространенный в фотографии XX века (далеко не только советской) сюжет, соединяющий страшное, странное и комичное — люди, примеряющие средства химической защиты. Групповые снимки, сделанные в самых обычных, подчеркнутых повседневных ситуациях, создают ощущение уже произошедшей катастрофы: всё осталось на своих местах, кроме человеческих лиц. На саркастичной фотографии неизвестного автора портрет Ленина — единственное лицо, не скрытое противогоазом (Ил. 15).

Однако аналогичный эффект восприятия может возникать и за счет существенно менее эксцентричных визуальных средств. Фотография Нины Свиридовой и Дмитрия Воздвиженского «Открытие станции «Пушкинская» (Ил. 16) документирует усталые улыбки метростроевцев, к третьему ряду уже не очень отчетливые, а дальше, на задних планах кадра лица постепенно «стираются», утрачивают черты, становясь в конце концов едва различимыми пятнами в плотной толпе. Многочисленные копии брежневского портрета начинают выполнять функцию масок, замещающих стертое человеческое лицо, — толпа как бы превращается в того, к кому обращены ее транспаранты, адресат оказывается адресантом: замкнутая коммуникативная система, замкнутое подземное пространство.

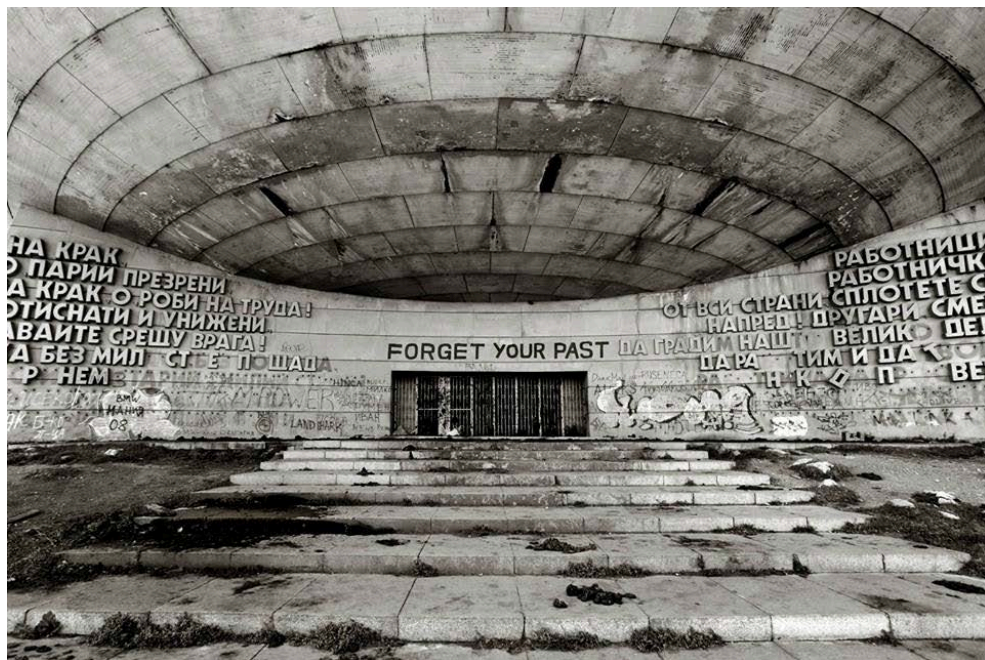
Отчасти похожим, отчасти противоположным образом устроен уже упоминавшийся выше снимок тех же авторов — «У монумента». Манипуляции с перспективой кадра здесь тоже испытывают нашу способность воспринимать человеческое лицо, создавая в конечном счете эффект «странного пространства». Детские лица, заглядывающие в камеру, сокращают привычную коммуникативную дистанцию, оказываются неконвенционально близко, почти воспроизводя известный эксперимент Гарольда Гарфинкеля; мы успеваем нормализовать, «нейтрализовать» визуальный дискомфорт и присвоить этим лицам схематичные амплуа, интерпретируя фотографию сразу в двух регистрах — счастливое настоящее (советские дети беззаботно играют) и светлое будущее (мальчик в шлеме, возможно, будет космолетчиком, мальчик в очках — конструктором или ученым; кого выберет



Ил. 15



Ил. 16. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский. «Открытие станции «Пушкинская» (1975, цикл «Время иллюзий»)



Ил. 17. Nicola Mihov. «Memorial House of the Bulgarian Communist Party. Buzludja» (2009–2012, «Forget Your Past»)

девочка?). Подобные ампула, подсказанные формулами советской научной фантастики, заслоняют то тревожное ощущение *реальности*, которое возникает при столкновении с прямым, прямо на нас направленным взглядом; мы с готовностью забываем, что темпоральные координаты, в которых на самом деле находятся персонажи фотографии, — прошлое. Снимок погружен в мемориальную ситуацию и ее гипертрофирует (устремленный в облака монумент словно загодя увековечивает грядущие подвиги) и вместе с тем побуждает забыть, что фотография, как и утопия, всегда представляет собой указание на отсутствующий референт, указание на то, чего уже не существует.

* * *

В заключение мне представляется уместным сослаться на фотопроект, придуманный и осуществленный уже в 2000–2010-х, — болгарский фотограф Никола Михов документирует судьбу монументов «коммунистической эры». Название цикла — «Забудь свое прошлое» — связано с фотографией «Дом-памятник Болгарской Коммунистической партии, Бузлуджа» (Ил. 17). В кадре нет ничего, кроме центрального входа в заброшенный мемориальный комплекс, построенный в 1981 году на вершине Балканских гор. Это пространство внушает элегический покой,

как любая руина, и — ощутимую тревогу. Очевидно, что здесь соединяются оба ракурса, о которых шла речь в данной статье. Мы видим, как осыпаются буквы пропагандистского текста, как раскрошившийся текст подменяется граффити — тем самым мусором многозначности, которого так боится утопия, — как место главного лозунга занимает самодельный и самовольный призыв «FORGET YOUR PAST». То, что было задумано как мемориал, превращается в памятник забвения. Эту фотографию просто трактовать, и вместе с тем она дезориентирует. Перед нами, безусловно, «странное место», напоминающее сновидение. Я не знаю, чей голос требует от меня забыть прошлое (не исключено, что мой собственный), и обращен ли он ко мне в принципе, и как можно действовать в этом «нейтральном», нейтрализующем память пространстве — оставлены ли здесь какие-то возможности действия, кроме неостановимого процесса письма, кроме бесконечного рисования на стенах?

Ужас утратить себя вместе с собственным прошлым, скрытый в классической утопии, но помещенный прямо в центр кадра Николя Михова, — едва ли не самое актуальное переживание, связанное с восприятием советской истории. В российском контексте мы можем наблюдать, как в ситуации непроясненной субъектности такой страх (наряду, конечно, с множеством других страхов) блокирует и процедуры забвения, и процедуры памяти, превращает «места памяти» в территории формализованного запрета (как это произошло с мемориалом «Малая земля»). Впрочем, это сюжет для другого исследования.

«Утопия принадлежит миру книги и знака», — подчеркивает Марен (Marin, 1990: 69). Утопическая рецепция — в значительной мере упражнение на «забывание себя», на вытеснение непосредственного, наличного опыта, на избегание включенного взаимодействия с другими. Сегодня в *utopian studies* больше распространен интерес к «диалогичности» утопии, к ее способности провоцировать реципиента на индивидуальное достраивание предложенных в ней схем, при этом в тени остается другая сторона утопического. При всей декларативной одержимости социальным⁶ утопия, парадоксальным образом, не допускает интересубъективности: утопическое пространство полностью закрыто для того, что Альфред Шюц называл «ответом», — для любого внешнего воздействия, для всего, что способно оказать сопротивление и принципиально расширить смысловые ресурсы. Утопия — непрозрачное стекло, которое мы накладываем на существующую конструкцию социальной реальности. Зачем нам это нужно и что мы таким образом видим? Этот вопрос, пожалуй, особенно часто задается исследователями утопического. Безусловно, стоит задать его еще раз.

6. Ср. постановку вопроса о связи «утопического воображения» и «социологического мышления» в специальном номере журнала «Социология власти» — «Социология и утопия» (№ 4 за 2014 г.), особенно: Вахштайн, 2014.

* * *

Между тем счастливые дети на фотографии Нины Свиридовой и Дмитрия Воздвиженского продолжают красить футбольные ворота. Утопический взгляд фиксирует пустотное пространство, уставленное, в полном соответствии с принципом повтора, одинаковыми коробами домов и одинаково голыми деревьями. Буквы на крыше одного из зданий — там, где в 1970-е годы обычно размещались официальные лозунги — конечно, должны были бы стать подписью к этой картине: закономерно было бы увидеть здесь «МИР», или «СЧАСТЬЕ», или «СЛАВА КПСС», но вместо этого в кадр неожиданно попадает вывеска «ОБУВЬ», абсолютно никак не подкрепленная визуальным рядом, и означающее в очередной раз расходится с означаемым, и ветер треплет волосы.

Литературные утопии

Ефремов И. (1958). Туманность Андромеды. М.: Молодая гвардия.

Кампанелла Т. (1947 [1623]). Город Солнца / Пер. с лат. Ф. Петровского. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР.

Мор Т. (1953 [1516]). Утопия / Пер. с лат. А. Малеина и Ф. Петровского. М.: Изд-во Академии наук СССР.

Литература

Бедаш Ю. (2010). Гетеротопология как практическая философия // Практизация философии: современные тенденции и стратегии. Т. 2 / Под ред. И. Инишева и Т. Щитцовой. Вильнюс: ЕГУ. С. 139–150.

Вахитайн В. (2014). Архитектура утопического воображения: попытка концептуализации // Социология власти. № 4. С. 13–37.

Джеймисон Ф. (2012). Политика утопии / Пер. с англ. Д. Потемкина // Художественный журнал. № 84. URL: <http://permm.ru/menu/xzh/archiv/84/politika-utopii.html>
Дата доступа: 20.04.2015.

Добренко Е. (2007). Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение.

Линч К. (1982). Образ города / Пер. с англ. В. Глазычева. М.: Стройиздат.

Луначарский А. (1968). Воспоминания и впечатления. М.: Советская Россия.

Орлова Г. (2006). «Воочию видим»: фотография и советский проект в эпоху их технической воспроизводимости // Советская власть и медиа / Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсенен. СПб.: Академический проект. С. 188–203.

Паперный В. (1996). Культура Два. М.: Новое литературное обозрение.

Серто М. де. (2013). Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Пер. с фр. Д. Калугина и Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.

- Харламов Н.* (2010). Гетеротопии: странные места в городских пространствах пост-гражданского общества (Рец. на кн.: *Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society* / Ed. by Michiel Dehaene & Lieven De Caeter. London: Routledge, 2008) // *Синий диван*. № 15. С. 189–197.
- Baccolini R.* (2007). Finding Utopia in Dystopia: Feminism, Memory, Nostalgia, and Hope // *Utopia-Method-Vision: The Use Value of Social Dreaming* / Ed. by T. Moylan and R. Baccolini. Oxford: Peter Lang. P. 159–190.
- Groys B.* (2004). Russian Photography in the Textual Context // *Beyond Memory: Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art* / Ed. by D. Neumaier. Rutgers: Rutgers University Press. P. 119–130.
- Jameson F.* (2005). *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions* Paperback. London: Verso.
- Marin L.* (1990). *Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces* / Transl. by R. A. Vollrath. P. New York: Humanity Books.
- Moylan T., Baccolini R.* (2007). Introduction: Utopia as Method; Conclusion: Utopia as Vision // *Utopia-Method-Vision: The Use Value of Social Dreaming* / Ed. by T. Moylan and R. Baccolini. Oxford: Peter Lang. P. 13–24, 319–324.
- Ruppert P.* (1986). *Reader in a Strange Land*. Athens: University of Georgia Press.
- Stites R.* (1989). *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Yurchak A.* (2006). *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*. Princeton: Princeton University Press.

The Skill of Utopian Vision: Photojournalism in the Last Soviet Decades

Irina Kaspe

Senior Research Fellow, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: 20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000.

E-mail: ikaspe@yandex.ru

The article examines the “utopian reception,” that is, occurrence and reproduction of the common understanding of the utopian. Attention is paid primarily to the visual experience, that is, the “utopian vision,” which means here a special social skill of the perception and interpretation of space as having being assigned the status of ‘utopian’. Thus, a certain inertia of vision encourages the observer to link visual materials produced in the Soviet period to the media construct of “Soviet utopia”. Here, two patterns of spatial description are especially popular, those of “totalitarian place,” and “queer place.” The article focuses on both patterns of “utopian vision” in detail. The first implies intensive rationalization and semiotization of space, while the second implies semantic crash and affectivity. The space is characterized within the former pattern by the metaphor of text, while within the latter by metaphors of night dreams or memory. The author refers to the semiotic, and, at the same time, the spatial analysis of the classic utopia within the

framework offered by Louis Marin in 1973, and demonstrates that space perceived by the “utopian view” ceases being social. The reverse side of the imaginary construction of a perfect society is, paradoxically, the blocking of any intersubjective relationships.

Keywords: Utopia, utopian reception, utopian vision, urban space, semiotic, interpretation, soviet photography, Louis Marin

References

- Baccolini R. (2007) Finding Utopia in Dystopia: Feminism, Memory, Nostalgia, and Hope. *Utopia-Method-Vision: The Use Value of Social Dreaming* (eds. T. Moylan, R. Baccolini), Oxford: Peter Lang, pp. 159–190.
- Bedash Yu. (2010) Geterotopologija kak prakticheskaja filosofija [Heterotopology as Practical Philosophy]. *Praktizacija filosofii: sovremennye tendencii i strategii. T. 2* [Practicalization of Philosophy: Contemporary Trends and Strategies, Vol. 2] (eds. I. Inishev, T. Schitsova), Vilnius: EGU, pp. 139–150.
- Campanella T. (1947) *Gorod Solnca* [Civitas Solis], Moscow: Akademiya nauk SSSR.
- Certeau M. de (2013) *Izobretenie povsednevnosti. 1. Iskusstvo delat'* [The Practice of Everyday Life], Saint-Petersburg: European University at Saint-Petersburg Press.
- Dobrenko E. (2007) *Politjekonomija socrealizma* [Political Economy of Socialist Realism], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Efremov I. (1958) *Tumannost' Andromedy* [Andromeda], Moscow: Molodaja gvardija.
- Groys B. (2004) Russian Photography in the Textual Context. *Beyond Memory: Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art* (ed. D. Neumaier), Rutgers: Rutgers University Press, pp. 119–130.
- Harlamov N. (2010) Geterotopii: strannye mesta v gorodskih prostranstvah postgrazhdanskogo obsh'estva [Heterotopias: Queer Places in the City Spaces of Postcivil Society] (Review: Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society, edited by M. Dehaene, L. De Caeter, London: Routledge, 2008). *Sinij divan*, no 15, pp. 189–197.
- Jameson F. (2005) *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions Paperback*, London: Verso.
- Jameson F. (2012) Politika utopii [The Politics of Utopia]. *Khudozhestvennyj zhurnal*, no 84. Available at: <http://permm.ru/menu/xzh/arxiv/84/politika-utopii.html> (accessed 20 April 2015).
- Lunacharsky A. (1968) *Vospominanija i vpechatlenija* [Memoirs and Impressions], Moscow: Sovetskaja Rossija.
- Lynch K. (1982) *Obraz goroda* [The Image of the City], Moscow: Strojizdat.
- Marin L. (1990) *Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces*, New York: Humanity Books.
- More T. (1953) *Utopija* [Utopia], Moscow: Akademiya nauk SSSR.
- Moylan T., Baccolini R. (2007) Introduction: Utopia as Method; Conclusion: Utopia as Vision. *Utopia-Method-Vision: The Use Value of Social Dreaming* (eds. T. Moylan, R. Baccolini), Oxford: Peter Lang, pp. 13–24, 319–324.
- Orlova G. (2006) “Voochiju vidim”: fotografija i sovetskij proekt v epohu ih teh-nicheskij vosproizvodimosti [“We see with our's own eyes”: Photography and Soviet Project in the Age of Mechanical Reproduction]. *Sovetskaja vlast' i media* [Soviet Power and Media] (eds. H. Gjunter, S. Hjensegen), Saint-Petersburg: Akademicheskij proekt, pp. 188–203.
- Paperny V. (1996) *Kul'tura Dva* [Culture Two], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Ruppert P. (1986) *Reader in a Strange Land*, Athens: University of Georgia Press.
- Stites R. (1989) *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*, Oxford: Oxford University Press.
- Vakhshtayn V. (2014) Arhitektura utopicheskogo voobrazhenija: popytko konceptualizacii [Architecture of Utopian Imagination: Conceptualisation Attempt]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 13–37.
- Yurchak A. (2006) *Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation*, Princeton: Princeton University Press.

The Landscape of a Religious Workspace: The Case of a Russian Christian Orthodox Sisterhood*

Ksenia Medvedeva

PhD Candidate, Department of Sociology, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: ksenia-medvedeva@yandex.ru

In this article, I examine the specifics of a workspace in one of the Christian Orthodox organizations in Russia. The sisterhood which I analyze represents the interlacement of religious and economic discourses in the workplace. I discuss the “commodification” of piety which is seen as a professional competency in the labour relations among Orthodox Christians. It is true about the sisterhood, where being “in-churched” is one of the main filters for potential employees. I examine the “politics of labour” in the sisterhood through the analysis of its heterogeneous spatial composition and point at the differences between its spaces in their work tempo, prestige, and working conditions. Alongside economic goals, the sisterhood is aimed at missionary and educational work; however, commercial relations are often described using religious terminology. I discuss the conflict between religious and economic aims of work. Particular attention is given to the analysis of techniques that help to maintain discipline in the sisterhood. It is achieved through rational organization of labour, observability of the workplace, hierarchy in employer-employee relationships, and the disciplining of body and emotions. The analysis is based on the materials of participant observation and field materials collected during my four months as a staff member of the sisterhood.

Keywords: Orthodox Christianity, labour discipline, work ethic, religious and economic values, “emotional work”

The concepts of discipline and control have a long history in social sciences and are connected with the idea of social order (Goffman, 1961; Coser, 1974; Foucault, 1977). Discipline can be understood as a specific regime that helps to keep the existing social order, maintains the norms established in a social group and is obligatory for its members. It arranges and rearranges people into categories, places them in a certain sequence, thus forming a specific disciplinary space within a group. The background for my research is set by the description of disciplinary practices in closed institutions. Prisons, mental hospitals, and barracks illustrate the nature of supervision and discipline precisely because they make maximum control of the behavior of their inhabitants. This paper analyzes discipline and self-discipline as an important characteristic of work management in one

© Medvedeva K., 2015

© Centre for Fundamental Sociology, 2015

* I would like to thank the members of the sisterhood for the experience that I received while working there in 2012–2013, and their leader for his kind permission to use the data obtained during that period. I am also grateful to Dr. Christopher Swader for his generous intellectual and emotional support.

of the Christian Orthodox organizations in Russia. The analyzed sisterhood¹ is a “community of pious single women,” usually called sisters, who gathered “to help each other in their spiritual development.” To perform their missionary and educational aims and carry out their daily routine they have employed workers, both men and women.

There can be highlighted several types of labour control (Kelly, 2002: 401). In this paper I focus on the individual level of a worker and examine disciplinary techniques experienced by employees themselves. I also discuss the institutional level of the company and examine the relations between the administrators and the workforce. In this research, my intention is to analyze the characteristics of Christian Orthodox work management, to clarify its working conditions, and the effectiveness of church organizations. As scholar of religion Boris Knorre notes, “The specifics of business relationship in church organizations even lose in comparison to those in a secular society”² (Knorre, 2009). He quotes Yury Belanovsky in that the “educational and social activity of the Church is lame due to totalitarian management in church organizations.” What is specific about management in church organizations? As the research shows, some church organizations tend to acquire methods of work from secular organizations. I have the experience of working and living in the sisterhood for four months as an employed worker. Using methods of participant observation and self-ethnography, I collected my field data. I also used rich materials on the sisterhood’s website which contains information about its history and functioning, as well as interviews with the head of the community.

The “commodification” of piety

In recent post-Soviet years, the “Christian Orthodox labor market” has greatly developed. While after the collapse of the Soviet Union, only half of the population said it was Orthodox, by 2007 over 80 per cent claimed to be Orthodox Christians (Evans, Northmore-Ball, 2012: 799). On numerous employment websites and social network services for believers, Orthodox employers look for religious staff, and Orthodox unemployed search for “Orthodox jobs.” Women seek for jobs as candle-sellers, church-cleaner jobs, as well as editors or church-singer positions. Men look for church-guard openings, as well as for website-support vacancies. The adverts of applicants usually contain common facts about education and job experience. They also may include information about the absence of certain weaknesses and ailments (for example, “no bad habits,” “not homeless,” “not an alcoholic”). It is interesting to pay attention to what skills and strengths they emphasize in their advertisements:

Male, 35 years old, not married, no children, looking for a job with accommodation in a church or monastery. No bad habits, know the typicon, read, sing (baritone), a professional bell ringer, photographer, not afraid of hard work. 15 years in the

1. I will designate it here as the sisterhood for the sake of anonymity.

2. Here and later all Russian terms, quotations from field notes and Russian sources are translated by the author.

Church. Have a security guard license and a health book, can work in the kitchen, have experience of working in a Sunday school. Philological education. Know PC, main office programs. If anyone can help, I will be very grateful.

Interested in a courier vacancy. Salary does not matter. I will be glad to work in an Orthodox team. Inchurched Christian, parishioner of St. Alexis Church of Moscow. (Male)

As we can see, the applicants specify their core religious competencies and experience. They clearly state their religious identity and the religious community they belong to. One of the reasons why it is important is explained by Weber:

The matter became somewhat clearer from the story of a German-born nose-and-throat specialist, who had established himself in a large city on the Ohio River and who told me of the visit of his first patient. Upon the doctor's request, he lay down upon the couch to be examined with the [aid of a] nose reflector. The patient sat up once and remarked with dignity and emphasis, "Sir, I am a member of the ___ Baptist Church in ___ Street." Puzzled about what meaning this circumstance might have for the disease of the nose and its treatment, the doctor discreetly inquired about the matter from an American colleague. The colleague smilingly informed him that the patient's statement of his church membership was merely to say: "Don't worry about the fees." (Gerth, Mills, 2007: 304)

As we see, giving details about one's religious life helps to build trust. Moreover, employees try to be more specific about their religious affiliation and point at their experience in religious life because they see it as their professional qualification. It helps them to stand out and be noticeable in the developing Orthodox market. Advanced market economy has commodified human relationships (Swader, 2009: 387), and being "inchurched"³ is seen as a strength and an advantage of a job-hunter. This term designates believers who know the basics of their faith and are immersed in church life. Inchurchment is seen as a commodity and professional competency. An "inchurched" employee possesses certain communicative, negotiating, integrity and other skills that may be useful in a working setting. One of the openings for a manager of pilgrimage tours specified, "Novices, please do not disturb." Here are the basic requirements for a tour guide in the Valaam monastery, "Christian Orthodox confession. Knowing the basics of the Orthodox faith. Blessing from a confessor. Higher or incomplete higher education. Age: men under 60 years, women under 55 years. No health restrictions. No bad habits. Knowing a foreign language (preferable)."

The sisterhood which I analyze also demonstrates both religious and business approaches to labor. The advertisement for an opening in the sisterhood invites "inchurched

3. The Russian term *votserkovlenny* is usually translated as "inchurched." A person becomes *votserkovlenny* in the process of "churchliness" (Marsh, 2005), "in-churching" (Burgess, 2014), or "inchurchment" (Köllner, 2013) which in some sense can be compared to the process of socialization in society. It was first introduced by Russian sociologist Valentina Chesnokova in the 1990s (Chesnokova, 2005). The Public Opinion Fund used Chesnokova's methodology for their all-Russian opinion poll in 2014. Its results shows that there are about 13 per cent of "inchurched" Russians in the country (<http://fom.ru/TSennosti/11587>).

hard-working women under 45 years old.” During my job interview, I was asked about my age, frequency of confessing and taking communion, and knowledge of the Creed.⁴ In fact, I was reviewed for the compliance with the three major dimensions of religiosity: religious affiliation, religious activities, and religious belief (Bjarnason, 2007: 350). Since the sisterhood is a feminized space, in addition to these requirements, men are also expected to be married. After successful candidates pass, they become workers of the sisterhood.

The labour landscape of the religious workspace

The labour landscape of the sisterhood has heterogeneous spatial composition and is comprised of several distinct spaces. Workers from the kitchen, the church shop and the publisher differ in their status in the sisterhood, have different working conditions and follow different working requirements. These three spaces represent different “‘politics of labour’, in which labour negotiates its wages and working conditions with employer” (Kelly, 2002: 397). Each of them occupies a separate building and has its own supervisor. I started my work in the kitchen, and after two weeks was transferred to the church shop as a member of the wholesale department and a shop assistant. Later on, I analyze some of the main differences between the workspaces of the sisterhood.

Labour spaces vary in work tempo. Directionally, from the kitchen, from the shop, and to the publisher office, I can point at the decrease in the dynamics of physical activity. The kitchen has the most dynamic regime. Work there is tied to deadlines, and there are at least three of them each day — breakfast, lunch, and dinner. Kitchen workers have to work quickly and perform several different tasks simultaneously. “Here we do not walk so slowly,” said a senior sister to my roommate Irina,⁵ who got tired during her work. Shop is a less dynamic space, as opposed to the kitchen, and has different requirements. On my first working day in the shop I made several mistakes in the accounting statements, and my boss remarked on it, “The main thing is attentiveness, the second one is speed.” Judging by the appearance, one can distinguish a kitchen worker from a shop or publisher employee. Women from the kitchen wear comfortable clothes and shoes, usually flip-flops, while women from the shop resemble typical office workers and could wear high-heeled shoes. As Irina noted, “I always hear when the shop comes for lunch, it’s their clattering!”

The second difference is related to the prestige of labour spaces. When I accepted an invitation to work in the shop, and my already-ex-colleagues from the kitchen congratulated me on this promotion since the shop is a more prestigious space compared to the kitchen. The salary there is a bit higher, and it is more of an intellectual rather than physical job. One elderly woman from a Ukrainian village, probably with some experience of working in Poland, called me *pani* which is a way to address to women showing respect

4. Here it is important to note that knowing the Symbol of Faith is itself rare knowledge in contemporary Russia (Zorkaya, 2009: 75).

5. All names in the article are changed for the purpose of anonymity.

in that country. This example shows the religious and economic mix in the sisterhood. On one hand, there is no better or worse place to work for a religious person who works (and more precisely “serves”) “for the sake of God’s glory.” On the other hand, however, economic motives for work are no less important, as we see from the reaction of my colleagues.

Thirdly, each space offers its own working conditions. The sisterhood offers accommodation to its employees. Those who use this opportunity and live on the territory of the sisterhood have a longer working day, have one day off a week, and a smaller salary. They live in carefully controlled hostel environment and are subject to more control compared to shop and publisher staff. They are mostly kitchen workers who have Ukrainian background and come temporarily to earn money. However, financial motivation is not the only reason for working migrants, since “particularly strong ties to Russia exist among the religiously Orthodox population of central and eastern Ukraine” (Hormel, Southworth, 2006: 606). Being a migrant space, kitchen is very dynamic and staff turnover is frequent here because workers make periodic trips home. Moreover, dismissals are also very common here. Since they are mostly initiated by the authorities, not by the employees themselves, kitchen workers live in constant fear of being fired because no one knows who will be next. Those employees who live outside the sisterhood have shorter working days, two days off a week, and a larger salary. They are mostly Russians who work in the shop and the publisher.

Why do Orthodox economic agents work? Actually, they do not work. As Zabaev writes, “Orthodox actors do not toil, do not do business, do not work, and do not engage in a particular activity. They ‘perform obediences.’” As he continues, “The aim is not to maximize results but to use time correctly” (Zabaev, 2007: 23). Filling in time with work helps avoid idleness, otherwise it will be occupied with sins (Zabaev, 2012: 53–54). However, in the analyzed community, time is money, and it is organized not only to be carried out correctly, but also to be effective.

A widespread work motivation among Orthodox believers is the work “to the glory of God.” It is often used in the meaning of “volunteer work,” or “unpaid work.” Many pilgrims stay in the sisterhood and help the sisters in exchange for meals, accommodation and the opportunity to do the sights of the city. Yet, financial motivation prevails among permanent workers who are employed by the sisterhood. The popular motivation of “God’s glory” gives way to a salary. As one of the employees said, “I don’t work here to the glory of God, I get paid for it.”

The sisterhood pursues several aims, both religious and economic. Sometimes they are in conflict with one another, and here is the story from my field notes that demonstrates it well:

One day a woman came to exchange a candlestick she had bought as it was damaged. Unfortunately, there were not any more of the same candlesticks. The problem was whether to give money back to the woman or not. The sisterhood like many church shops does not give cheques for purchases, so the refund is at the

discretion of a certain organization. A quarrel between the customer and a senior assistant started. The customer was insisting on a refund since “these are just trading relations,” as she said. While the assistant claimed, “This is your donation for the church.” In the end, the assistant gave up, saying to me, “Give her the money back and let God be her judge!”

As is seen from the above quotation, commercial relations are described using religious terminology. This example does not imply that the sisterhood holds less Orthodox or more Protestant values. Actually, not only religious values and work ethic impact economic development but also a different “social ethic,” which includes “social control, rule of law and homogeneity of values” (Arruñada, 2010: 895). The “social ethic” of the sisterhood is formed by the requirement of their employees to be in-churched, obey the rules and regulations of the sisterhood and their leader, and different types of social control that are carried out there. Alongside commercial goals, the sisterhood is also aimed at missionary and educational work. When I worked in the shop, I paid attention to the types of things they sell there. Among other items, the shop sells chocolates with wrappers picturing Christian Orthodox saints. Chocolates are produced at a confectionery factory, but the original wrapper is removed in the sisterhood and replaced with a “religious” one. However, if they pictured recognized saints, the chocolates would bring in more profit. But, they do not. The wrappers mostly picture little-known Christian Orthodox saints which can only point at the sisterhood’s missionary and educational aim.

Disciplining techniques in the work management

The spatial composition of the sisterhood is quite diverse, and each workplace has its own disciplinary regime. The workforce is subject to both horizontal and vertical disciplining (Kharkhordin, 1998: 960). I have identified several techniques that help to maintain discipline. They are rational organization of labour, observability, hierarchy, and “emotional work.”

Work in the sisterhood is organized rationally. Like many other church organizations today, the sisterhood employs accountants and has much paperwork in the wholesale department. Moreover, at the individual level, each worker is also involved in “rational book-keeping” (Weber, 2001: xxxv). Every workday, workers write down the times when they begin and end work. Only registered time is paid for. The kitchen staff has one more kind of “disciplining book-keeping”: if a worker breaks some utensil, she should write down her name and what the broken item was into a special kitchen journal. When pay day comes, an amount of money for a broken item will be held back from her salary. Another characteristic of rationally organized labour process is the accumulation of capital and its investment (Weber, 2001), which in the sisterhood takes the form of expanding: the community started with one main venue more than ten years ago, and nowadays it has three more affiliated churches which vary in size. As many Christian Orthodox companies in Russia, they pursue not only religious aims in their work, but also work to earn a profit

(Mitrokhin, 2000). More precisely, they invest the earned money into their missionary, educational, and religious projects. The head of the sisterhood believes that “the economics of the Church should be modern.” In his opinion, they should earn money themselves, which “is more proper than scrounging on non-parishioners.”

Mutual control is best performed in the kitchen since it is the most observable space. In this situation, working together functions as supervision. Being physically available for visual control itself disciplines the workers. It is achieved owing to interior layout: the rooms in the kitchen create one sightline, and its doors are almost always open so that it creates a feeling of one large place. However, more self-control is required when working in the shop. The shop has fewer employees and its space is divided into separate rooms, many of which are equipped with combination locks, making it difficult to quickly move from one place to another. Each employee works at their computer station, or at their counter. That is why a different method of workers' control appears, that of an indirect one. Disciplining is mediated by posters and various notes hanging on the walls and doors which dictate how to behave and how not to behave. One of these notes on a bookcase says: “If one hides a case of disorder from the authorities, then how can they be safe and not afraid, that ten cases are not hidden?” St. Philaret of Moscow.” This quote performs a controlling function and acts on behalf of a well-known thinker who is respected among the Orthodox.

In general, one's attention can be attracted by the numerous notices on the walls of commonly-used places. They are written by the sisters and regulate what should or should not be done, and how certain objects should or should not be used. These adverts contain both prohibiting and permissible guidance. Notices often use excessive words to enhance the meaning of a word, and create some redundancy in the notes. In cloak-rooms, washrooms, and workplaces, there is information on how to behave, what to do and what not to do. It may indicate that many new people circulate in this organization. At the same time, these notices create a dialog situation, as if a worker is not alone, and can act as disciplining tools to check one's work by involving a worker into this dialogue. In the sisterhood, there is an ironing room with one iron shared by all the workers who live there. One day, we found it broken. The notice on the broken iron had a sad smiley at the end. It said, “Someone who broke this iron (or knows anything about it) is asked to honestly confess it to the hotel-keeper. Otherwise you and your neighbors will have to get along without the iron:”) The end of the story remains unknown to me, but even the notice is one more example of the self-discipline that is quite important in the sisterhood.

Like many other religious organizations, the sisterhood is hierarchical and patriarchal. The head of the sisterhood is its confessor, who is also its spiritual father and founder. Work in the sisterhood is organized under his guidance through the system of ‘blessings.’ Being one of the main categories of work ethics of Orthodoxy (Zabaev, 2012), blessing is important because it fixes the mentioned hierarchy of the sisterhood. The confessor gives blessings to the sisters, and the sisters give blessings to the workers. The original meaning of “blessing” is an “invocation of divine grace . . . onto a person who asks for

it.”⁶ However, it also has some disciplinary connotations. The term “blessed” may refer to the sphere of something permitted as opposed to prohibited. It can also be used to signify the order of the authorities (for example, in the notice: “Attention! New blessing!”) It covers the sphere of one’s duties since a worker can be fined for not “fulfilling” a blessing. As one of the notices in the kitchen reads, “Dear soup-cookers! *Batyushka* blessed to use frozen greens when cooking soup. For non-fulfillment — money penalty.” It can even be expressed in the form of likes and dislikes, as in this field note: “Once I came to the shop wearing mascara, and received a remark from a senior sister in the shop: ‘*Batyushka*’ doesn’t like when somebody uses lash mascara.”

According to Foucault (1977), the subject of punishment over time moves from the body of the offender to his “soul.” The sisterhood demonstrates both body discipline and the disciplining of emotions. The discipline of the body is an important aspect of life in the sisterhood. There are penalties for those who are careless about their health. For example, if a person goes out in the street without outer clothing, he or (mostly, as there are more women in the sisterhood) she can get a remark, and even be fined. Slow and ill workers are often sacked.

The workers should meet certain requirements which apply to clothes and cosmetics. Women should not use cosmetics, they should cover their head with a scarf, and they should wear a skirt with a regulated length of being below the knees. Such requirements can be seen as a certain “work uniform,” since not all female workers wear such skirts in their everyday. It can be illustrated by a record from the field diary, “At the end of the working day my young colleague of 22 years old changed one skirt into another: she took off her ‘working’ long skirt and put on a mini-skirt, in which she went home. Orthodox uniform!” (October 10, 2012) The workers from the publisher seem to be more independent of the sisterhood’s appearance requirements, since female workers from the publishers sometimes wore trousers and did not have a scarf. However, requirements in appearance exist in many organizations, not only in religious workplaces. They help to create the special atmosphere of that place and fit the expectations of their customers. It is true about the church shop since customers expect it to be a truly Orthodox place. Still, these requirements refer to the sphere of religious ethic rather than work ethic since female workers should observe these rules even in those workplaces where customers do not see them. No one except sisters and other employees see the women in the wholesale department and the kitchen, but still those women have to dress properly. Meeting these appearance standards creates the atmosphere of an Orthodox workplace.

One more method of disciplining is through “emotional work” (Hochschild, 1983). The work in the sisterhood is quite emotional because the disciplining methods appeal to individual workers, their conscience and religious beliefs. Disciplining the soul, raising morals, and the social nature of emotions are quite popular topics in social sciences.

6. Christian Orthodox website “Azбука very” [Introduction to faith]: <http://azbyka.ru/dictionary/02/blagoslovenie.shtml>.

7. “*Batyushka*” is a very common, gentle way of addressing to priests and speaking about them, that is, an informal version of the word “father.”

Charles Cooley (2013) points out that this topic has been widely discussed in the literature about spiritual life, and adds, “The prophets of the inner life, like Marcus Aurelius, St. Paul, St. Augustine, Thomas a Kempis, and Pascal, were men distinguished not by the lack of an aggressive self, but by a success in controlling and elevating it, which makes them the examples of all who undergo a like struggle with it” (Cooley, 2013: 248–249). There are two ways of controlling the social “I.” The negative way is to avoid anything that could excite the emotions, and the positive way is to oppose, control, and direct the emotions. The second method, the author believes, is a traditional part of the religious discipline of consciousness.

Directing emotions is important for the employees. Conflict resolution skills are essential for working in the sisterhood. If a conflict situation happens and is not solved for some reason, one of the conflicting parts is usually fired. The slightest hints of dissatisfaction are suppressed (Tocheva, 2014: 20). Asking for forgiveness has become an institutionalized practice in the community since it is part of the senior sister’s work in the kitchen (part of her “obedience”). Each time after having a meal, she stands in front of the other sisters and says, “Sisters, sorry for a badly cooked meal.” It is hardly common in secular workplaces, and it adds an emotional connotation to the kitchen space. Emotional work among the workers is directed towards colleagues rather than customers and lies within the employer-employee and the employee-employee spheres. Moreover, as the example with the candlestick shows, a customer can be wrong.

There is an area with less supervising in the sisterhood. This “shadow zone” is closely tied to the gender issue. The sisterhood is a highly feminized workplace. Sisters hold managerial positions there, and even a lorry fleet is run by a sister. It contradicts the common view on women’s secondary status in the secular labour market and their “inferior job opportunities vis-a-vis men” because alongside the roles of “workers and mother” it offers one more female scenario in terms of consecrated life (Ashwin, Yakubovich, 2005: 159). There, the “shadow zone” is the book warehouse where mostly men work. At the entrance of the warehouse, the words “The territory of freedom” were scrawled. The warehouse is a place where irony affects not only interpersonal relations, but also labor relations: people joke about their work here much more than in other more feminized workplaces. As elsewhere in the sisterhood, the warehouse has many notices on the walls. However, these notices are creatively edited by the warehouse staff. Here, humor and irony soften the rigor of the posters. For example, on one of the notices, an exclamation mark was turned into a smiley. The warehouse is a space where informal creativity reigns. The walls have drawings, pictures, and quotes about life, love, and religion, though not only from the Holy Fathers. Thus, in the sisterhood, gender issue is connected not only with job opportunities but also with the control over workspace.

Conclusion

In this paper, I analyze the specifics of work management using the case of a Russian Orthodox sisterhood and give a brief outline of the Christian Orthodox labour market. Like

many Church organizations in the post-Soviet period, the sisterhood is characterized by a mix of religious and economic features. It pursues several aims, both religious and economic. On one hand, they may contradict one another and cause conflicts; on the other hand, they may complement each other: thus, the capital accumulated in the sisterhood is invested into religious missionary and educational projects. Work in the sisterhood is aimed at results, and profits are achieved by a particular style of management. However, as in many religious organizations, being “inchurched” is an important requirement of potential employees in the sisterhood which serves as a filter in the job marketplace. It acts as a commodity and indicates professional competency rather than a personal trait of character. One more evidence to the religious-economic fusion in the sisterhood is that economic relations are described using religious categories.

“Labour politics” of the sisterhood is played out at different levels, and “control and regulation operate simultaneously at multiple scales” (Kelly, 2002: 409). I give an ethnographic account of labour discipline and work management in the three major spaces of the sisterhood: the kitchen, the shop, and the publisher. I analyze the difference between the spaces in terms of their work tempo, prestige, and working conditions. The kitchen has the most dynamic regime of work and is the least prestigious space. Those who work in the shop and the publishers have more stable jobs and a higher salary. Thus, the difference in working conditions creates more and less prestigious jobs within a religious environment.

I deconstruct the spatial composition of the sisterhood to show how the various types of control are performed there. Each workplace has its own disciplinary regime which is maintained owing to rational organization of labour (book-keeping, accounting), direct and indirect visual control over the workplace, hierarchy in the relationships between the administrators and the employees fixed by the categories of obedience and blessing, and the disciplining of body and emotions. At the same time, self-discipline is also required from workers and is quite important in the work management in the given community.

Work management of the sisterhood characterizes new tendencies in the present-day Russian Orthodox labour market in general and provides evidence that the market has a complex religious and economic nature.

References

- Arruñada B. (2010) Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social Ethic. *Economic Journal*, vol. 120, no 547, pp. 890–918.
- Ashwin S., Yakubovich V. (2005) Cherchez la femme: Women as Supporting Actors in the Russian Labour Market. *European Sociological Review*, vol. 21, no 2, pp. 149–164.
- Bjarnason D. (2007) Concept Analysis of Religiosity. *Home Health Care Management and Practice*, vol. 19, no 5, pp. 350–355.
- Burgess J. P. (2014) In-churching Russia. *First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Life*, no 243, pp. 37–43.

- Chesnokova V. (2005) *Tesnym Putem. Process Vocerkovlenija Naselenija Rossii v Konce XX Veka* [The Narrow Way. The Process of Inchurchment of the Russian Population at the End of the 20 Century], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Cooley C. H. (2013 [1922]) *Human Nature and the Social Order*, London: Forgotten Books.
- Coser L. A. (1974) *Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment*, New York: Free Press.
- Evans G., Northmore-Ball K. (2012) The Limits of Secularization? The Resurgence of Orthodoxy in Post-Soviet Russia. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 51, no 4, pp. 795–808.
- Foucault M. (1977) *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Random House.
- Gerth H. H., Mills C. W. (eds.) (2007) *From Max Weber: Essays in Sociology*, London: Routledge.
- Goffman E. (1961) *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York: Anchor Books.
- Hochschild A. (1983) *The Managed Heart*, Berkeley: University of California Press.
- Hormel L., Southworth C. (2006) Eastward Bound: A Case Study of Post-Soviet Labour Migration from a Rural Ukrainian Town. *Europe-Asia Studies*, vol. 58, no 4, pp. 603–623.
- Kelly Ph. F. (2002) Spaces of Labour Control: Comparative Perspectives from Southeast Asia. *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 27, no 4, pp. 395–411.
- Kharkhordin O. (1998) Civil Society and Orthodox Christianity: First Europe-Asia Lecture. *Europe-Asia Studies*, vol. 50, no 6, pp. 949–968.
- Knorre B. (2009) Pravoslavie v Rossii i 20-letnee ispytanie svobodnoj [Orthodoxy in Russia and the Twenty-Year Test with Freedom]. *Russian Review*. Available at: http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition35/02-knorr-about-father-peter-mescherinov.html (accessed 20 March 2015).
- Marsh C. (2005) Russian Orthodox Christians and their orientation toward Church and state. *Journal of Church and State*, vol. 47, no 3, pp. 545–561.
- Mitrokhin N. (2000) Russkaja pravoslavnaja cerkov' kak sub'ekt jekonomicheskoj dejatel'nosti [Russian Orthodox Church as the Subject of Economic Activity]. *Voprosy Jekonomiki*, no 8, pp. 54–70.
- Swader C. (2009) Adaptation as “Selling Out”?: Capitalism and the Commodification of Values in Post-Communist Russia and Eastern Germany. *Journal of International Relations and Development*, vol. 12, no 4, pp. 387–395.
- Tocheva D. (2014) The Economy of the Temples of God in the Turmoil of Changing Russia. *European Journal of Sociology*, vol. 55, no 1, pp. 1–24.
- Weber M. (2001 [1930]) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, London: Routledge.
- Zabaev I. (2007) Osnovnye kategorii hozjajstvennoj jetiki sovremennogo russkogo pravoslavija [Main Categories of Economic Ethic in Modern Russian Orthodoxy]. *Social'naja Real'nost'*, no 9, pp. 5–26.

- Zabaev I. (2012) *Osnovnye kategorii hozjajstvennoj jetiki sovremennogo russkogo pravoslavlja: sociologicheskij analiz* [Main Categories of Economic Ethic in Modern Russian Orthodoxy: A Sociological Analysis], Moscow: PSTGU.
- Zorkaja N. A. (2009) *Pravoslavie v bezreligioznom obshhestve* [The Orthodoxy of the Society without Religion]. *Vestnik obshhestvennogo mnenija: Dannye. Analiz. Diskussii*, no 2 (100), pp. 65–85.

Трудовая дисциплина в православном сестричестве в России

Ксения Медведева

Аспирант департамента социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: ksenia-medvedeva@yandex.ru

В этой статье я рассматриваю особенности рабочего пространства в одной из православных организаций в России. Сестричество, которое я анализирую, представляет собой переплетение религиозных и экономических дискурсов в рабочем пространстве. Я поднимаю вопрос «коммодификации благочестия», которое используется как профессиональная компетенция в трудовых отношениях среди православных христиан. Это верно в применении к сестричеству, где «воцерковленность» является одним из основных фильтров для потенциальных сотрудников. Я разбираю «политику труда» в сестричестве через анализ гетерогенной пространственной композиции и отмечаю различия между рабочими пространствами, в частности, темп работы, престиж, условия труда. Помимо экономических целей, сестричество преследует миссионерские и образовательные задачи; тем не менее, рыночные отношения часто описываются с помощью религиозной терминологии. Я анализирую конфликт между религиозными и экономическими целями труда. Особое внимание уделяется анализу техник, которые помогают поддержать дисциплину в сестричестве. Это достигается через рациональную организацию труда, наблюдаемость трудового пространства, иерархию в отношениях руководитель-подчиненный и дисциплинирование тела и эмоций. Исследование основано на материалах включенного наблюдения и полевых данных, собранных за четыре месяца, проведенные мною в качестве сотрудницы сестричества.

Ключевые слова: православие, дисциплина, трудовая этика, религиозные и экономические ценности, «эмоциональная работа»

Вариация на тему политической теологии: «Книга бытия украинского народа»*

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского национального университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

«Книга бытия украинского народа» — один из ключевых текстов украинского национализма эпохи модерна, в котором отражена деятельность Кирилло-Мефодиевского общества (1846–1847). Сразу после ареста в конце марта 1846 г. Н. И. Костомаров заявил, что изъятый у него текст является переделкой «Книги народа польского и польского пилигримства» А. Мицкевича (1832). В настоящей статье сопоставляются два названных текста и предпринимается попытка выявить как преемственность «Книги бытия...» от «Книги народа польского», так и отклонения от последней, касающиеся внутренней логики «мессианской» философии истории и политической философии. В противовес «Книге народа польского», «Книга бытия...», во-первых, отказывается от идеи *Rex Christiana*, переинтерпретируя Средневековье как эпоху искажения христианства, вопреки его мицкевичевскому пониманию как медленного, но постоянно-го продвижения к претворению в жизнь данного принципа. Во-вторых, ставя своей целью дать мессианскую интерпретацию Украины, она вынуждена сузить исторические рамки, выстраивая схему универсального призвания славянских народов, пробудить которых к исторической жизни способна Украина, сохраняющая в латентном состоянии принцип Речи Посполитой (*Respublica*). Тем самым можно возродить Речи Посполиты Польши и Великороссии, и тогда этот тройственный союз, уподобляемый Божественной Троице, станет основой славянского возрождения.

Ключевые слова: Н. И. Костомаров, А. Мицкевич, национализм, политическое мессианство, романтизм, украинофилы

«Книга бытия украинского народа»¹ — первый манифест украинского национализма эпохи модерна и основной текст Кирилло-Мефодиевского общества (1846–1847). Обстоятельства возникновения и дальнейшая судьба данного произведения неоднократно становились предметом специальных исследований (см.: Зайончковский, 1959; Сергієнко, 1971; Міяковський, 1984: 83–155; Смолій та ін., 2005: 212), однако его внутренняя логика удостаивалась обычно краткого рассмотрения и/или помещалась в широкий исторический контекст — например, общей логики развития украинофильства (Єскельчик, 2010: гл. 5) или творчества Н. И. Костома-

© Тесля А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-5033.2015.6 «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)».

1. В документах следствия текст именуется «Законом Божиим»; об истории возникновения ныне привычного заглавия см.: Нахлик, 2007: 43–44, прим. 140.

рова (см.: Пінчук, 1992; Артюх, 2011). Мы сосредоточимся на анализе положений книги в рамках ранних восточноевропейских национальных движений.

Кирилло-Мефодиевское общество

Собственно, «общества» в строгом смысле слова, с определенными критериями членства и единой политической программой, не возникло, это был скорее «кружок интеллектуалов-единомышленников» (Parazian, 1970: 65), которые лишь отчасти сходились во взглядах. Н. И. Костомаров писал в 1883 г.:

«Вот уже прошло с тех пор тридцать пять лет, воды много утекло и те, которые тогда поступали на службу, теперь уже получают полную пенсию, следовательно самое это событие отошло уже в мир истории русской протекшей жизни: пора сказать о нем сущую правду, а правда о нем будет такова, что общества Кирилла и Мефодия не существовало; происходили только разговоры о нем, без всякого намерения основывать его. Действительно, Кулиш и Шевченко не были участниками разговоров, происходивших в январе 1846 года; Кулиш находился тогда в Петербурге, а с Шевченко я еще не был лично знаком; но я слишком хорошо помню, что ни от того, ни от другого мы с нашими славянскими симпатиями не таились...» (Костомаров, 1883: 230).

С годами став только осторожнее (к тому же в ситуации, когда украинский вопрос вновь оказался в повестке дня), Костомаров искажает прошлое, утверждая, что все ограничивалось только разговорами, «без всякого намерения» основать общество. Материалы следствия (Кирило-Мефодіївське товариство, 1990²) позволяют согласиться, что основанное в конце 1845 г. (Т. 1. № 156. С. 177; № 357. С. 295–296) Н. И. Костомаровым, Н. И. Гулаком и В. М. Белозерским тайное общество, в начале 1846 г. получившее имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Т. 1. № 510. С. 399, протокол допроса В. М. Белозерского 24.IV.1847), ограничилось составлением устава, «Книги бытия украинского народа», двух воззваний (к «братьям великороссиянам и полякам» и к «братьям украинцам»), изготовлением трех колец с именами св. Кирилла и Мефодия и противоправительственными разговорами.

Поскольку основное содержание обвинения составляли противоправительственные разговоры и обсуждавшиеся планы деятельности, отчетливо разграничить членов общества от других участников схожих разговоров невозможно. Это вынуждало, например, П. А. Зайончковского включать в число собственно членов «лишь Костомарова, Гулака, Навроцкого, Пильчикова и Петрова... Но Кирилло-Мефодиевское общество не было еще оформленной организацией... Согласно с этим определением, можно считать также членами общества литератора Кулиша, студентов Маркевича, Андрузского, Посяду, помещика Савича и, наконец, Шев-

2. Ссылки на данную публикацию даются в тексте с указанием тома, номера документа в составе цитируемого тома и страницы издания.

ченко» (Зайончковский, 1959: 68–70). Следствие разделило всех привлеченных по делу и признанных виновными на три категории:

Члены «Украино-славянского общества», которое «существовало, но только несколько месяцев — в исходе 1845 и начале 1846 г. между тремя лицами: Гулаком, Белозерским и Костомаровым» (Т. 1. № 69. С. 64; доклад кн. А. Ф. Орлова Николаю I о деятельности Кирилло-Мефодиевского общества и предложения о наказании его членов, от 26.V.1847), причем Гулак был квалифицирован как «главный руководитель Украинно-славянского общества» (Там же. С. 69).

«Лица, приближавшиеся к Украинно-славянскому обществу», к которым были отнесены Навроцкий, Андрузский и Посяда (Там же. С. 66).

«Лица, виновные в преступлениях, отдельных от Украинно-славянского общества», — в эту категорию вошли Шевченко и Кулиш (Там же. С. 67–68).

Столь ограниченные результаты следствия, равно как и сравнительная мягкость наказания и назначение его по докладу, без суда объясняются тем, что правительство оказалось не заинтересовано в придании делу громогласности, а главным предметом опасений на первом этапе расследования были предполагаемый польский след и международные связи заговорщиков. Как докладывал кн. А. Ф. Орлов в заключении по делу, «сведения, первоначально полученные и даже открывавшиеся при дальнейшем развитии следствия, представляли Украинно-славянское общество весьма в важном виде и многие обстоятельства заставляли думать, что общество имело окончательное устройство тайного злоумышленного дела...». В дальнейшем следствием было открыто, что «сколь ни важна в разных отношениях вина прикосновенных лиц, но собственно политическое зло, к счастью, еще не успело развиться до той степени, как представлялось по первоначальным сведениям. Доносы и первые сведения, как всегда бывает, преувеличивали важность, и дело оказалось в виде менее опасном» (Там же. С. 63–64).

Первоначально власти опасались заговора (что выразилось в обостренном внимании к связям членов кружка с офицерами), но вскоре выяснилось, что они имеют дело с «заговором идей», применительно к которому непубличность разбирательства — лучшее из возможных решений во избежание распространения нежелательных мнений и взглядов. В результате одним из следствий дела Кирилло-Мефодиевского общества стало долговременное (вплоть до 1856 г.) усиление цензурной бдительности относительно как украинофильских, так и в целом славянофильских публикаций. Когда ключевые участники общества и близкие к нему лица вновь получили возможность публично и от собственного имени высказывать свои взгляды, последние успели претерпеть существенные изменения, однако и после расширения цензурных границ дозволенного многие сюжеты прошлого трактовались весьма осторожно, а многочисленные документы, принадлежавшие участникам общества и близким к нему лицам, были уничтожены. В этой связи огромную ценность для реконструкции интеллектуальной истории «Книги

бытия...» имеют впервые опубликованные в относительно полном объеме³ лишь в 1990 г. материалы следствия (Кирило-Мефодіївське товариство, 1990).

Материалы следствия, относящиеся к «Книге бытия украинского народа»

Сразу же после ареста, 28 марта 1847 г. Костомаров назвал найденный у него текст «собственноручным, им самим сделанным переводом одного места из польского революционного сочинения „Pielgrzymka narodu polskiego“» (Т. 1. № 325. С. 244). Поняв, что сличение текстов выявит, что рукопись не является переводом, он дал (до 30 марта) новое пояснение:

«Вдобавок к прежнему своему показанию, желая искренностью очистить свою совесть и не оставить в душе своей ничего скрытого, я считаю долгом присовокупить следующее: в бытность на Волыни достал я на польском языке написанное сочинение с примесью малороссийского, приписываемое какому-то из польских эмигрантов из Украины, которое я тогда перевел, а впоследствии заметил, читая Мицкевичеву „Pielgrzymku“, что оно ничто иное как сколок, из любопытства переписал его в другой раз с намерением добиться, польская ли, Мицкевичева, вaledка появилась прежде малороссийской или последняя. Это сочинение одно из тех, которое и в стихах и в прозе распускали поляки для возмущения украинцев во время своего мятежа и отличается во многих местах едким и гнусным тоном не только против царствующей власти, но и против идеи власти вообще. Держа его для себя, я имел неосторожность давать его Гулаку, в чем считаю себя виновным» (Т. 1. № 327. С. 246–247).

На первом допросе в Петербурге, 15 апреля Костомаров показал:

«А сочинение я не переводил с польского в собственном смысле, ибо оно написано было по-малороссийски и только часть его была по-польски, и я в нем перевел то с польского, что было на этом языке, ибо списывать польское для меня было гораздо труднее, нежели, разобравши, выразить на природном языке. Я никогда не разделял в душе подобных убеждений и даже если бы сбился с пути чести и присяги, то и тогда не мог бы разделять их, будучи русским, ибо оно явственно есть исчадие польщизны. Притом у меня осталась книга Мицкевича „Pielgrzymku“ с моими замечаниями, из которых видно, что я не расположен верить этим мерзостям. Я его держал у себя, смотря на него, во-первых, как на исторический документ мятежа польского; во-вторых, как на одну из грез, на которые попадает славянофильство, и считал для себя нужным знать подобные заблуждения, ибо я сам всегда имел в виду идею славянского соединения в одну федеративную монархию, т. е. чтоб все славянские народы были соединены с Российской империей на таком основании, на каком теперь Царство Польское, и потому с жадностью ловил всякие и правильные и ложные мысли о славянском соединении, дабы составить

3. За пределами публикации, помимо малозначительных служебных справок, некоторых финансовых документов и т. п., остались, к сожалению, материалы по надзору за Ф. В. Чижовым в 1850–1860-х гг.

себе понятие, в каких видах переходит эта идея в умах. Кем пополнено оно, не знаю, но у меня оно не все, ибо я назначил его к истреблению и оно уже вырвано. Переписывая его, я отделил сначала польское, потом малороссийское; на чем оно изорвано — не помню. Помню, что оно начиналось стихами: „дитина люба“, потом следовало по-польски предисловие и нечто вроде правил славянской республиканской федерации, что оно называется „Закон божий“ — это я слышал в первый раз, но вспоминаю, что давно слышал о таком сочинении на малороссийском языке, весьма предосудительном, и любопытно было его достать, приписывали его какому-то с иностранной фамилией, если не изменяет мне память, де Бальмену. Сочинение это досталось мне в кипе разного малороссийского сбора, но так как я получал песни, сказки и тому под[обное], отлагал разбор их до вакационного времени, то и не знаю достоверно, откуда оно мне пришло, ибо я нашел его в кипе песен, сказок и анекдотов в 1846 г., в мае, а собирал этнографические материалы преимущественно в 1845 г. на Вольни; доставляли мне кроме того их с разных мест. Я никому не давал его, кроме Гулаку, который мне сказал, что оно ему уже известно, а в декабре попросил себе на один день, увидя, что я сравнивал его с „Pielgrzymk'om“ и завез. Оно в моем списке названо „Поднестриянка“; я теперь только узнал, что оно называется „Закон божий“, каковое название мне было давно знакомо, но я не знал, какое сочинение так называлось. Гулаку же я дал его в полной уверенности, что в нем перебродили все противозаконные идеи, ибо он никакого расположения к ним не показывал, и с обязанностью никому не давать» (Т. 1. № 345. С. 277–278).

К 17 апреля следствие окончательно выяснило, что рукопись «Закона божьего» «не может быть переводом; ибо все обнаруживает в ней оригинальное сочинение, приноровленное к России и Малороссии» (Т. 1. № 346. С. 286). Теперь Костомаров давал новые показания:

«Подлинник сочинения, известного мне под именем „Поднестриянки“, а другим под именем „Закона божия“, писан по-малороссийски, о чем я и показывал. Список, с которого я переписывал, не знаю где. Обыкновенно все списки малороссийские я бросал в кучу негодной бумаги, предварительно переписав иногда в двух и даже в трех вариантах, что можно видеть из тысячей песен, сказок, документов и тому подобных, хранящихся у меня. Кем сочинен подлинник, я не знаю, о чем уже показал, как я не знаю сочинителей многих подобных бродячих произведений на малороссийском языке, например „Разговора Великороссии с Малороссиею“, „Царства праведных“, „Грицька Залезняка“ и тому подобных. Об этом сочинении я упоминал г-ну помощнику попечителя⁴, именно когда читал ему одну статью свою и по случаю зашел разговор о бродячих малороссийских сочинителях и в самой этой статье, напечатанной в одном из номеров „Библиотеки для чтения“ за прошлый год („Мысли об истории Малороссии“), я, исчисляя бродячие малороссийские сочинения, назвал и „Поднестриянку“⁵, а сколько мне помнится, при этой ру-

4. Т. е. Юзефовичу.

5. В статье, помещенной в «Библиотеке для чтения», «Поднестриянка» не упоминается.

кописи находились стихи, под которыми стояло заглавие „Поднестриянка“» (Там же. С. 287).

7 мая Костомаров обратился к Дубельту с просьбой позволить ему переменить показания, что и сделал в тот же день. Теперь он утверждал:

«Непозволительные рукописи, как то: „Dziady“, „Поднестриянку“, или „Закон божий“, „Сон“ и другие, я приобрел отчасти по врожденной страсти к редкостям, отчасти с целью, что все пригодится для исследования языка и для соображений исторических, но теперь я крайне сожалею и глубоко раскаиваюсь, что держал и переписывал эти мерзости. То только служит мне утешением, что, видит бог, как далек я был от всех гнусных революционных убеждений и отвратительных мыслей, обращение дара божия — слов на подлое змеиное шептание против священных предметов, установленных и благословенных небом. „Закон божий“ я списал еще давно, сколько могу припомнить, от Хмельницкого, который служил в Кавказском корпусе, случайно квартировал со мною недолго в Харькове и потом уехал, кажется, в Петербург. Несколько лет эта рукопись валялась у меня без употребления, пока несчастный случай не привел меня читать Мицкевича, и я вспомнил об ней, открыл и смотрел на нее, как на исторический памятник близких к нашему времени заблуждений. Гулак, бывая у меня в доме по случаю перевода летописи, захватил ее у меня, воспользовавшись моею рассеянностью, происшедшей от того, что я занят был сильно своим сватовством. Таким образом бог попустил меня за грехи мои в величайшее несчастье быть невольным орудием распространения подлейшей рукописи. Мне кажется она произведением поляка, ибо тексты: всяка власть, истина, быть слугою толкуются и упоминаются также точно у Мицкевича, Лелевеля и в записках Даниловича, покойного профессора, тайного недоброжелателя нашего, хотя ученого человека. Притом многие поляки из Юго-Западной Руси, например Чайковский, Залеский и другие, кричали о восстановлении и славе Украины так, что порицали своих соотечественников. Эта рукопись не имела ни малейшего приложения к прежним занятиям славянским и к тому ученому бреду, который происходил в апреле и мае, и обоим знакомцам моим была неизвестна» (Т. 1. № 357. С. 300).

17 мая Н. И. Гулак, поняв, что далее, после всех собранных следствием материалов, молчать бессмысленно, дал показание: «В исходе 1846 г. я сочинил и написал найденные у меня бумаги: а) устав общества св. Кирилла и Мефодия и б) бумагу, именуемую в допросных пунктах „Закон божий“. Я их никому не сообщал и не читал» (Т. 1. № 158. С. 179). 19 мая был вновь допрошен Костомаров, объяснивший показания своего товарища следующим образом: «Вероятно, Гулак, движимый, наконец, раскаянием в своем безрассудном и бесчестном поступке, именно, что он, отъезжая в С.-Петербург, утащил у меня рукопись и через то поверг меня ответственности и за то, что эта рукопись, быть может, распространилась, за то единственно, что по доброту души я слишком был доверчив к людям и не предполагал

тайного зла, вероятно, Гулак думает теперь этим загладить перед богом то, чем он отплатил мне за добро» (Т. 1. № 359. С. 304).

В. М. Белозерский, в чьих бумагах был найден еще один экземпляр «Книги бытия...» и его собственные заметки, к ней относящиеся, показывал на допросе 24 апреля, где речь шла о «Законе божием»: «Кем переписана поименованная тетрадь с названием, о котором я никогда не слышал, мне совершенно неизвестно. Имеет ли еще кто-либо подобную рукопись и распространял ли кто экземпляры оной, мне тоже неизвестно, а я никогда не думал о распространении оной» (Т. 1. № 510. С. 403). Отвечая 26 апреля на дополнительные вопросы, Белозерский сообщал: «Рукопись... так названный „Закон божий“, переписана Навроцким вероятно из рукописи, находящейся у Гулака, и, может быть, без его ведома. Но я наверное знаю, что он этой рукописи не хотел распространять и боялся даже кому-либо ее показывать. Винить его можно за любопытство к подобному содержанию и ни в каком случае за злой умысел» (Т. 1. № 511. С. 413).

Следствие приняло версию Костомарова — в итоговом отчете императору по делу общества кн. А. Ф. Орлов писал:

«Рукопись „Закон божий“ есть не что иное, как переделка книги Мицкевича; переделка же состоит в том, что в „Пилигримке“ все приновлено к Польше, а в „Законе божьем“ — к Малороссии. Костомаров полагает, что эта переделка произведена поляками, которые вскоре после мятежа думали волновать и малороссиян», отмечая, что «показание Гулака о сочинении им рукописи: „Закон божий“ ложно, ибо рукопись эта существовала в 1833 г., т. е. в то время, когда Гулак был еще в детском возрасте» (Т. 1. № 69. С. 66, 65).

Итак, в ходе следствия были представлены следующие версии происхождения «Книги бытия...»:

Костомаров:

а) польское сочинение «с примесью малороссийского, приписываемое какому-то из польских эмигрантов с Украины», — переработка «Книги польского народа» Мицкевича, Костомарову принадлежит перевод его (показание от 28.III);

в) сочинение на малороссийском, только часть которого писана по-польски (соответствующую часть и перевел Костомаров). Название этого текста — «Поднестриянка», авторство принадлежит, по слухам, де Бальменю⁶ (показание от 15.IV);

с) сочинение на малороссийском, попавшее к Костомарову в числе других «бродячих произведений», о нем он говорил Юзефовичу, в той же рукописи находились и стихи, озаглавленные «Поднестриянка», каковое название он отнес ко всей рукописи (показание от 17.IV);

д) «Поднестриянку», или «Закон божий», Костомаров списал в Харькове у Хмельницкого, служившего в Кавказском корпусе, который недолго квартиро-

6. Бальмень Яков Петрович, де (1813–1845) — художник-любитель, знакомый Шевченко (познакомились 29.VI.1843), иллюстратор «Кобзаря», погиб 26.VII.1845 в Чечне.

вал у него — и далее уехал в Петербург⁷. Произведение связывается, помимо Мицкевича, с «украинской школой» польской литературы — с именами Чайковского, Залеского⁸ и др. (показание от 7.V).

Гулак в показаниях от 17.V взял на себя авторство «Книги бытия...» (в чем был опровергнут Костомаровым 19.V).

III-е отделение С.Е.И.В. Канцелярии: «Книга бытия...» является «переделкой» «Книги народа польского» — о происхождении этого произведения предположений не делается, лишь сообщается (без комментария) последняя из принадлежащих Костомарову версий.

«Книга бытия украинского народа» и «Книга народа польского»

Зависимость «Книги бытия...» от «Книги народа польского и польского пилигримства» Мицкевича под сомнение почти никогда не ставилась, однако нечасто делалась предметом детального анализа (см.: Gołąbek, 1932; Зайончковский, 1959; Дзядевич, 2001). Хотя в документах следствия упоминается «Pielgrzymka», в действительности имеется в виду связь не со второй частью книги Мицкевича («Книга польского пилигримства»), а с первой — «Книгой народа польского» (Mickiewicz, 1832: 5–23).

Подзаголовок к «Книге народа польского» полностью выражает ее содержание: «от начала мира до страстей народа польского»: мировая история истолковывается как история свободы — от изначального состояния мира, где была «вера в одного Бога... и не было господ и невольников, только патриархи и дети их» к идолопоклонничеству, карой за что стала неволя: «И стала половина людей невольницей второй половины, хотя все происходили от одного Отца... и придумали себе разных отцов...».

Воюя и враждуя друг с другом, попадают они все в общую неволю — к Римскому Императору, именующему себя Богом и утверждающему, что нет в мире другой правды, кроме его воли: «что он одобрит, то будет называться добродетелью, а что он осудит, то будет называться преступлением». Но «когда неволя усилилась в мире, наступил конец ее» — пришествие Иисуса Христа:

«...встревожились судьи, которые судили во имя Римского Императора, и вымолвили: Мы выгнали из земли Справедливость, а вот она возвращается, убейте ее и погребите в землю.

Но воскликнули бессмысленно, поскольку не знали, что совершая наибольшее преступление, уже превысили меры неправды своей, и закончилась сила их тогда, когда более всего радовались.

7. Дело о розыске Хмельницкого не дало результата — см.: Т. 3. №№ 181–183, 197. С. 165–166, 176.

8. Чайковский Михаил Станиславович (1804–1886) — польский прозаик, во второй половине 1830-х приобретший большую известность рассказами и повестями из казацкой старины.

Залеский Юзеф Богдан (1802–1886) — польский поэт, известность ему принесли в 1830-е годы стихи об Украине, воспевавшие казацкое прошлое.

Поскольку Христос воскрес из мертвых и, выгнавши императоров, поставил крест свой в столице их; тогда же господа освободили невольников своих и признали в них братьев, а короли, помазанные во имя Божие, признали над собой закон Господний, и вернулась на землю Справедливость.

И все народы, что уверовали — немцы, французы, итальянцы и поляки — считали себя за один народ, и назывался тот народ христианством.

И владыки всех народов считали себя за братьев и шли под одним знаменем креста».

Возникший Pax Christiana был миром расширявшейся свободы — шедшей сверху вниз: «И вольность в Европе расширялась медленно, но непрерывно... от королей шла вольность к большим господам, а те, будучи свободными, разливали вольность на шляхту, а из шляхты шла вольность на города, и вскоре была направлена на народ, и все Христиане должны были быть свободны, и все Христиане быть как братья».

«Но короли испортили все» — они, боясь утратить власть, отреклись от Христа, «а философы говорить стали, что глупостью является воевать за веру», а затем «нашлись философы, которые одобрили все, что придумали короли». И поставили себе новых идолов — последним из которых, всеобщим стал «Интерес»:

«...поклонились Интересу все народы. И вымолвили короли: Если мы распространим поклонение этому идолу, тогда народ будет драться с народом, потом драться будет город с городом, а затем человек с человеком.

И одичают вновь люди, а мы опять будем иметь такую власть, которую имели когда-то дикие короли, идолопоклонники и которую имеют сейчас короли негритянские и короли канныбальские, что могут съесть подданных своих».

Один лишь польский народ «не поклонялся новому идолу и не имел в языке своем выражения для названия его по-польски, также как названия для почитателей его, которые называются на французском эгоистами» — он был «от начала до конца верный Богу предков своих». И наградил за это Бог: «Большой народ, Литва, соединился с Польшей, как мужчина с женой, две души в одном теле. А не было никогда раньше такого соединения народов. Но потом будет. Поскольку это объединение и бракосочетание Литвы с Польшей является образцом следующего объединения всех христианских людей во имя Веры и Вольности». Польша ближе всего оказалась к воплощению христианского мира:

«А в завершение король и рыцарство третьего дня мая⁹ задумали всех поляков сделать братьями, сначала мещан, а затем крестьян. <...>

И хотели сделать, чтобы каждый христианин в Польше шляхтичем себя называл, и в знак этого должен иметь душу шляхтича и быть всегда готовым умереть за Вольность.

9. Имеется в виду Конституция 3 мая 1791 г.

Как называли ранее каждого Евангелие принимающего Христианином, в знак того, что готов кровь пролить за Христа.

Шляхетство тогда должно было быть крещено Вольностью, и каждый, кто готов был бы умереть за Вольность, крестился бы мечом и правом.

И молвила Польша в завершение: Кто придет ко мне, будет свободен и равен, потому что я есть Вольность».

И тогда сатанинская троица убила этот Народ: Фридрих II, Екатерина II и Мария Терезия предстают в логике оборотничества — знаменитый фрагмент, толкующий их имена, представляет их как противоположность того, как они именуются, действующих вопреки тому, что они говорят:

«Фредерик, имя которого означает друг мира, вел войны и разбои всю жизнь, и был как сатана вечно дышащий войной, который бы в насмешку именовался Христом, Богом мира.

И этот Фредерик на посмешище давним рыцарским орденам установил безбожный орден, или орден, которому на посмешище дал девиз *suum cuique*, или отдай каждому, что есть его; а орден этот носили слуги его, которые чужое достояние забирали и грабили.

И этот Фредерик на посмешище мудрости написал книгу, которую назвал Антимакиавелли, или противник Макиавелли, а сам поступал согласно науке Макиавелли.

Екатерина же значит по-гречески чистая, а была наигрешнейшей из женщин, и будто бесстыдная Венера, что называется Чистой Девой.

И Екатерина собрала Совет для установления законов, чтобы поиздеваться над законодательством, поскольку права ближних своих извратила и уничтожила.

И Екатерина объявила, что защищает свободу совести, или терпимость, чтобы поиздеваться над свободой совести, поскольку заставила несколько миллионов ближних [своих] переменить веру.

А Мария Терезия носила имя наипокорнейшей и непорочной Матери Спасителя — чтобы поглумиться над смирением и святостью.

Потому что была гордым дьяволом и вела войну для подчинения чужих земель.

И была безбожной, поскольку, молясь и исповедуясь, забрала в неволю несколько миллионов ближних».

Фридрих дарит Польше поцелуй Иуды, призывая ее примириться с собой, когда судьба ее уже была решена, палачами оказываются Екатерина и Мария Терезия, Франция же в этой мистерии выступает в роли Пилата: «А Галл судил и вымолвил: Поистине я не нахожу вины в этом народе, и жена моя Франция, боязливая женщина, мучаемая плохими снами; однако возьмите себе, умиротворите этот народ. И умыл руки»:

«И умертвили польский народ, и опустили в могилу, а короли воскликнули: Мы убили и похоронили Вольность.

А воскликнули бессмысленно, поскольку осуществляя последнее преступление, превысили меру неправд своих, и кончалась сила их тогда, когда больше всего радовались.

Но народ польский не умер; тело его лежит во гробе, а душа его вышла из земли, то есть из жизни государственной и публичной, сошла в бездонное пекло — до домашней жизни людей, терпящих неволю в стране и вне страны своей, чтобы видели рабство их.

А третьего дня душа вернется к телу своему, и народ воскреснет из мертвых и все народы Европы выведет из неволи.

И два дня уже минули; один кончился с первым взятием Варшавы, другой кончился со вторым взятием Варшавы, а третий придет и не закончится.

А как с воскресеньем Христа прекратились на земле всей кровопролитные жертвы, так прекратятся в мире христианском войны с воскресением народа польского».

Для понимания мысли Мицкевича 1832 г. крайне важно предисловие к «Книге пилигримства польского», где он пишет: «Но польский народ не является божеством как Христос, поэтому душа его, паломничая по свету, заблудиться может, и поэтому затягивалось бы возвращение ее к телу и воскрешение» (Mickiewicz, 1832: 24).

Если Христос есть Богочеловек по природе своей, то христианин есть богочеловек по благодати — и путь христианина является путем подражания Христу, уподобления ему: эта логика уподобления распространяется Мицкевичем на мировую историю, историю народов. Польский народ должен уподобиться Христу — как должен к этому стремиться каждый христианин.

Мицкевич вписывает историю Польши в историю мировую — мысля через нее искупление мировой истории, возвращение к должному порядку *Rex Christiana*, возвращение из мира «интереса», восторжествовавшего буржуа и прагматической мудрости — отсюда двукратное обличение философов, проповедующих мудрость мира сего¹⁰. Если позже, в лекциях в Коллеж де Франс, мотив униженности, славянского мира как простеца среди народов получит максимальное развитие, то уже в «Книгах...» он явственно присутствует, разделяя историю на два плана: Польша становится искупителем христианских народов, подобно тому, как доброе

10. Для настроений Мицкевича в то время, которое непосредственно предшествовало написанию «Книг народа польского и польского пилигримства», характерно его письмо И. Лелевелю из Дрездена от 23.III.1832: «Мне думается только, что нашим стремлениям следует придавать характер религиозно-нравственный, не имеющий ничего общего с финансовым либерализмом французов, и что основой должен служить католицизм [выд. мной. — А. Т.]. Знакомы ли вы с сочинениями Ламенэ? Это единственный француз, который проливал искренние слезы над нами; его слезы были единственные, которые я видел в Париже. Мое пребывание в Познани и то, что я слышал в Силезии, подтвердили меня в моих убеждениях. Быть может, наш народ призван проповедовать другим народам евангелие национальности, нравственности и религии, презрения к бюджетам, — единственного принципа теперешней чисто таможенной политики. Самые просвещенные французы лишены патриотизма и любви к свободе; они только резонерствуют» (Мицкевич, 1902: 282; ср. с письмом к гр. И. Грабовскому от 16.VI.1832: Там же: 287).

приходит из Галилеи и ничтожное событие в римской провинции становится осью истории мира (Рудас-Гроздка, 2007: 53–56)¹¹.

При всем внешнем сходстве с произведением Мицкевича «Книги бытия...» имеет принципиальные отличия — прежде всего это отсутствие *Pax Christiana*. Для Мицкевича мировая история от Боговоплощения является историей строительства этого мира — медленного, но постоянного: наступившее время, «три дня во гробе» — финальное испытание, «темная ночь», которая темнее всего перед рассветом. В оптике «Книги бытия...» мировая история обретает единство только в принципе свободы, но не в единстве его развития — в ней нет Империи, а лишь разные народы, различным образом реализующие и уклоняющиеся от божьей заповеди. Отсюда — обращение к еврейской и греческой истории, которые не привлекают внимание Мицкевича. В «Книге бытия...», напротив, в духе монархомахов повествуется, что «евреи выбрали себе царя, не слушая святого старца Самуила, и бог скоро показал им, что они сделали нехорошо, ибо хотя Давид был лучший из всех царей в мире, но и его бог попустил в прегрешение так, что он отнял у соседа жену. Это же сделалось для того, дабы люди уразумели, что каков бы ни был добродетельный человек, но если он станет властвовать самодержавно, то впадет в порок. И Соломона, мудрейшего из людей, бог попустил впасть в наивеличайшее безумие — идолопоклонство, дабы люди уразумели, что как бы ни был разумен человек, но если станет властвовать самодержавно, то обезумеет» (п. 10¹²). Аналогично и греки «не познали истинной свободы, ибо хотя отреклись от царей, но не знали царя небесного и изобретали себе богов; и так царей у них не было, а боги были, от этого они вполовину стали такими, какими были бы, если б не было у них богов и если б они знали небесного бога. Ибо хотя много говорили о свободе, а свободными были не все, а только часть народа, прочие же были невольниками; итак, царей у них не было, а господа были, и это все равно, как если бы у них было много царьков» (п. 17).

Радикальное изменение претерпевает интерпретация христианизации империи. Если для Мицкевича Рим христианский — антипод Рима языческого, и истинные цари помазываются как священники (Mickiewicz, 1832: 29), то «Книга бытия...» интерпретирует уже само средневековое христианство как оборотничество, измену христианству под видом принятия его:

11. Параллелью здесь становится и уподобление, сделанное в самом начале «Книги народа польского» Российской империи, под чью власть попала большая часть Польши, Римской, где вочеловечился Господь: как в Римской империи император объявил себя Богом и не знал ничего высшего над собой, так и «Российский император является главой веры, и во что велит верить, в то верить должны», в чем отличен даже от султана турецкого, над которым закон Магомета, который он не может сам трактовать (Mickiewicz, 1832: 6–7).

12. Здесь и далее «Книга бытия...» цитируется с обозначением параграфа по русскому варианту, найденному при обыске у Гулака (Т. 1. № 145. С. 152–169), в случае необходимости отмечаются различия с двумя экземплярами на украинском (Т. 1. № 145. С. 152–169; № 332. С. 250–258).

«...императоры с господами условились и сказали между собою так: уж нам не искоренить христианства, поднимемся на хитрости, примем сами христианство, извратим учение христово так, чтоб нам выгодно было, и одурачим народ.

И начали цари принимать христианство и говорить: „Вот видите, можно быть и царем и христианином“.

И господа принимали христианство и говорили: „Вот видите: можно быть и христианами и господами“» (пп. 35–37).

Если в основе мицкевичевского построения лежит идея «христианской монархии», то в логике «Книги бытия...» сама эта идея является извращением христианства: «И те, которые так говорили и говорят и извращают христово слово, те отдадут ответ в день судный. Они скажут судие: Господи, не твое ли имя пророчествах? А судия скажет: Не вем вас» (п. 43). Одновременно на смену противопоставления «Книги народа польского» христианства, единого Бога и идолов, поставляемых королями и оправдываемых философами — в «Книге бытия...» осуждаются уже не «философы», а «лжефилософы» (п. 25)¹³.

Противопоставление на мир христианский и мир не-христианский заменяется в «Книге бытия...» на неравенство благодати:

«Благодать дана всем языкам, а прежде поколению Яфетов, ибо Симово отвергнуло Христа в лице жидов.

И перешла благодать к племенам греческому, романскому, немецкому и славянскому» (пп. 45–46).

Каждое из них, кроме славянского, оказывается недостойно благодати:

греки — «ибо они приняли новую веру, а не совлеклись ветхого человека со страстями и похотями, они оставили у себя императоров и господ, и тщеславие царское, и неволю; и наказал их господь: царство греческое чахло тысячу лет и попало под иго турков» (п. 47);

романское племя «благословил... господь, ибо они лучше приняли св[ятую] веру, нежели греки, однако и они не совлеклись ветхого человека со страстями и похотями, оставили королей и господ и выдумали главу христианства — папу, и этот папа выдумал, будто имеет власть над целым миром христианским, и никто не может судить его, а что вздумает, то все хорошо» (п. 48);

«но и немцы не совлеклись ветхого человека со страстями и похотями, ибо и они оставили у себя королей и господ, и, что хуже всего, позволили вместо папы и епископов управлять церковью христовою королям и господам» (п. 49).

Последующая история вновь интерпретируется в духе мотивов «Книги народа польского», повествуя о королях, творящих идолов (п. 50). И «выдумали отступники нового бога, сильнеешего над всеми мелкими боженятами, этот бог по-французски называется эгоизм или интерес» (п. 52) — после чего следует осуждение Французской революции (отсутствующее у Мицкевича) как дела безбожного:

13. В укр. варианте Гулака, правда, поставлены просто «філософи», но в экземпляре, изъятом у Костомарова, стоит: «лукаві філозофи».

«И французы убили короля своего и прогнали господ, а сами начали резаться и дорезались до того, что впали в горшую неволю.

Ибо на них господь хотел показать всем языкам, что нет свободы без христовой веры.

И с тех пор племена романское и немецкое мятутся, возвратили себе королей и господ, а кричат о свободе, и нет у них свободы, ибо нет свободы без веры» (пп. 56–58).

Избранным племенем становится славянское: «...случается, что меньшей брат лучше любит отца, однако получает меньший участок, чем другие братья, а впоследствии, как братья старшие потратят свое достояние, а меньшей сбережет свое, то меньшей старших выручает» (п. 60) — славяне еще до принятия христианства «не имели „ни царей, ни господ, и все были равны... а поклонялись славяне одному богу вседержителю“» (п. 61), но затем, соблазнившись от немцев, «приняли... королей и господ» (п. 65) и через то «наказал господь славянское племя жесточее, нежели другие племена, ибо сам господь сказал: кому дано больше, от того больше и взыщется» (п. 67) — и от всего славянства «стало три независимые царства: Польша, Литва и Московщина» (п. 70), прочие же погибли или попали «в неволю к чужеземцам» (пп. 67–68).

У каждого из этих трех царств была своя Речь Посполитая, но Польша сотворила себе господ и впала в анархию, а «народ великороссийский» «обезумел... и впал в идолопоклонство, ибо царя своего назвал земным богом» (п. 72–73). Украина же, принадлежавшая Литве,

«соединилась... с Польшею как сестра с сестрою, как единый народ славянский с другим народом славянским нераздельно и несмесимо, по образу ипостасей божественных нераздельных и несмесимых, так как некогда соединятся все народы славянские между собою. <...> И день со дня росло и умножалось казачество, и скоро все люди в Украине стали бы казаками, т. е. вольными и равными, и не было бы над Украиною ни царя, ни пана, кроме бога единого, и, смотря на Украину, также бы сделалось и в Польше, а потом и в других славянских землях. <...> И хотела Украина снова [после восстания, в ответ на притеснения. — А. Т.] жить с Польшею по-братски, но Польша никаким образом не хотела отречься от своего панства» (пп. 75, 80, 87–88).

И «тогда Украина пристала к Московщине и соединилась с нею... она любила и поляков и великороссиян как братьев своих и не хотела с ними разбрататься, а хотела она, чтоб все жили вместе, соединившись как один народ славянский с другим народом славянским, а эти два соединились бы с третьим, и было бы три Речи Посполитые в одном союзе неразделимо и несмесимо по образу Троицы божественной нераздельной и несмесимой, как некогда соединятся между собой все народы славянские» (пп. 88, 91).

Нынешняя же неволя тем не менее объясняется извне:

«И Славянщина хотя терпела и терпит неволю, но не сама сотворила неволю, ибо царь и дворянство не славянского духа изобретения, а немецкого и татарского. И теперь в России хотя и есть деспот царь, однако он не славянин, а немец и чиновники у него немцы, оттого и дворяне хотя и есть в России, но они скоро переделываются в немцев и французов, а истинный славянин не любит ни царя, ни господина, а любит и помнит одного Иисуса Христа, царя неба и земли. Так было прежде, так и теперь продолжается.

Лежит Украина в могиле, но не умерла. <...>

И царствует деспот над тремя славянскими народами, правит ими посредством немцев, заражает, калечит, уничтожает добрую природу славянскую, но ничего он не сделает.

Ибо голос Украины не умолкнет. Встанет Украина из своей могилы и опять воззовет к братьям славянам, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в Велико[ой] России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у болгар.

И Украина сделается независимою Речью Посполитою в союзе славянском.

Тогда скажут все народы, указывая на то место, где на карте будет нарисована Украина: „Вот камень, его же не брегоша зиждущий, той бысть во главу угла“ (пп. 99–100, 107–109).

При последовательном сопоставлении очевидно, что влияние Мицкевича к концу текста ничуть не ослабевает, более того, вопреки, например, мнению М. Возняка, видевшего в упоминании Екатерины как «распутницы» и т. д. (п. 96) влияние Шевченко (Возняк, 1921: 135), эта характеристика прямо отсылает к цитированному выше пассажиру из «Книги народа польского». Тем интереснее изменения:

— во-первых, снимается указание на обращение униатов в православие в силу антикатолической направленности «Книги бытия...», исходящей из надконфессионального христианства;

— во-вторых, сама эта характеристика резко историзируется, превращаясь в черту конкретного исторического лица — в отличие от Мицкевича, для которого указание на «распутство» Екатерины значимо в выстраиваемой им схеме противопоставления «имени» — «реальности», как ложного, обманного имени.

Таким образом, «Книга бытия...» — текст, написанный «поверх» «Книги народа польского». Он использует ключевые образы и логику последнего, перерабатывая их в направлении большей секуляризации (например, «христианство» здесь лишено конфессиональной привязки), переводу из пространства христианской истории в сферу истории всемирной.

Спор об авторстве

В надиктованном в 1869 г. Н. А. Белозерской варианте автобиографии Костомаров глухо говорил об изъятой у него при аресте «рукописи о славянском единстве, написанной моей рукой» (Костомаров, 1885: 214), ранее, однако, рассказывая: «Идеи основанного общества поглощали меня до фанатизма. Я распространял их где мог: с кафедры между студентами, в частных разговорах между профессорами университета и даже в духовной академии» (Костомаров, 1885: 211). В другом варианте автобиографии, написанном в 1875 г., Костомаров уже прямо утверждает: «Я написал небольшое сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я прочитал Гулаку; оно ему очень понравилось и он списал его себе¹⁴, а потом, как я узнал впоследствии, показал студенту Петрову. Белозерского уже не было в Киеве; он отправился в Полтаву учителем в кадетский корпус. У него был также список этого сочинения» (Костомаров, 1922: 195–196)¹⁵.

Тем не менее даже прямое утверждение, сделанное в «Автобиографии» Костомаровым о принадлежности ему текста, не стало для целого ряда исследователей окончательным аргументом, поскольку содержание текста¹⁶ вступало в противоречие с тем, что было известно о его взглядах 1846 г. В. Петров на основании анализа писем Кулиша к Костомарову вновь ставил вопрос об авторстве «Книги...», поскольку «Тезис, что лежит в основе „Книги бытия“ и определяет принципиальный ее характер, это приведенное выше утверждение [П. А. Кулиша] „Благодать дана всем народам“» (Петров, 1928: 143). Еще более оригинальную версию выдвинул уже в начале 1980-х ведущий украинский исследователь Кирилло-Мефодиевского общества Г. Я. Сергиенко:

«Проанализировав содержание произведения, можно сделать вывод, что „Книга бытия украинского народа“ написана между 1825 и 1830 гг., то есть между восстанием декабристов, которое там упоминается, и польским восстанием, которое не нашло отголоска в тексте. <...> Маловероятно, чтобы это произведение написал сам Н.И. Костомаров, хотя в воспоминаниях он авторство „Книги бытия украинского народа“ взял на себя. Возможно, какой-то первоначальный текст он перерабатывал и дополнял. К тому же версия про переработку произведения А. Мицкевича остается не доказанной, несмотря на близость произведений по форме, а отчасти и содержанию.

Нет оснований не верить Н. И. Костомарову, что существовал текст анонимного произведения под названием „Подністрянка“, которая, вероятно, стала одним из источников „Книги бытия украинского народа“. В целом „Книгу бытия украинского народа“ следует считать анонимным произведением, которое возникло на Украине под влиянием восстания декабристов,

14. Здесь память подводит Костомарова: у Гулака был изъят экземпляр «Книги бытия...», писанный в два столбца на украинском и русском языках рукою Костомарова (Т. 1. № 145. С. 152–169; на с. 153 того же издания помещена фотография первой страницы рукописи).

15. Данный фрагмент по цензурным соображениям не вошел в издание 1890 г. (см. обозначенный пропуск: Костомаров, 1890: 67), опубликован только в 1922 г.

16. Впервые опубликованного в 1918 г. (Смолій та ін., 2005: 211).

польской прогрессивной общественной мысли и подверглось, вероятно, переработке и дополнениям уже в 40-х годах со стороны Н. И. Костомарова и Н. И. Гулака...» (Сергиенко, 1983: 85–86).

Если точка зрения Г. Я. Сергиенко не более чем курьез (для обнаружения зависимости «Книги бытия...» от «Книг народа польского и польского пилигримства» Мицкевича достаточно самого поверхностного сличения текста, не говоря о том, что ключевой мессианский мотив крайне сложно себе представить вне истории польского мессианства 1830–1840-х гг., после поражения восстания 1830 г.), то неоднократные попытки атрибутировать текст другому автору или предположить соавторство/соучастие в деле написания «Книги бытия...» вполне закономерны в силу того, что нам известно о взглядах Костомарова рассматриваемого периода.

Характеризуя Костомарова, студент Г. Л. Андрузский сбивчиво, явно торопливо, писал, отвечая следствию:

«Костомаров получил воспитание в Харьковском университете. Ложно понятые идеи совратили его с пути истины и повели к гибели. Человек молодой, благородный, исполненный надежд, мог ли он не увлечься брожением умов? Первый его шаг был — любовь к малороссийскому языку. Он жил в Малороссии, мать малороссиянка. Вместе с языком, истинно гомерическим, он полюбил историю Малороссии, историю кровавую, можно сказать, варварскую, но героическую, доблестную, а что более доблести мило для юноши, самого исполненного высоких чувств. Малороссия сделалась второй родиной Костомарову, он смотрел на южно-русса как на лучшего брата, великорос сам, на язык южный — как на идеал языка простого, не обработанного, но близкого к природе, исполненного достоинств древних языков. Шаг первый сделан! В это-то время он написал свои диссертации и плохие стихотворения Иеремиа Галки.

Полюбить что-либо утраченное, значит пожелать воротить его: то стало с Костомаровым. И мог ли он при таком ходе мыслей, мало-помалу не возненавидеть виновников падения Малороссии? Его бы ненависть пала наиболее на поляков; но в это время столкнулись с идеей славянства и высоким словом Христа: „Любите врага ваша“. О славянстве же идеи появлялись в „Москвитянине“, в польских, сербских, болгарских периодических изданиях; даже в смиренном „Киевлянине“.

Конечно, Костомаров сперва о них мечтал, потом желал, надеялся и, наконец, подумал: нельзя ли? Сделан второй шаг! — Костомаров был в словесном факультете, слушал об английской и французской революциях. Скучность лекций дополнило воображение и чтение древних классиков. Он пожелал либерализма, монархизм стал не люб. Шаг третий. До сих пор мыслил, наступила пора действовать.

Костомаров послан был в Киев учителем истории в 1-й Киевской гимназии.

В подтверждение вышесказанного могу привести следующее: Костомаров хвалился знанием почти всего Псалтыря и Евангелия. Часто говорил и действовал слабо, как будто боролся с какою мыслию противною его направлению... Бесперывно старался историею подтвердить свои мнения и нередко

послаблял их, судя по фактам. Так, читая польскую историю, он увлекся ею, читая историю Малороссии Конисского, он проклинал поляков и первый его вопрос вошедшему Посяде был: почему Хмельницкий не вырезал поляков, когда взял Варшаву? То вдруг углублялся в чтение священных книг.

По прибытии в Киев Костомаров задумал осуществить идею киевского журнала на всех славянских наречиях. В нем помещались бы беллетристические статьи, история, науки, художества и прочее.

Прибыл попечитель Траскин (генерал), он был доволен мыслью Костомарова и требовал только программы журнала для испрошения дозволения. Но Костомаров, не имея под рукою материалов, охладел и уже думал только о русско-малороссийском журнале в двух периодических изданиях в год, наконец, о сборнике, альманахе и, утратив мало-помалу мысль об этом, погрузился в изучение своего предмета — истории. Так, может быть, все и уничтожилось бы, но судьбы определили иначе: приехал Тарас Григорьевич Шевченко...

Возродилась идея о журнале. Шевченко обещался и Киевский театр снабжать своими пьесами. Он на время куда-то уехал и все приостановилось. Это было летом в 1846 г.

Я воротился с вакации, вскоре приехал и Шевченко, но упадок духа не позволял ему исполнить свое обещание; поэт должен быть исполнен и благородных помыслов. Шевченко нуждался в них и нашел в Костомарове, исполнился религиозности и перевел на малороссийский язык несколько псалмов, хотя и щекотливого выбора: к сожалению, я их не читал.

Гулак до приезда Шевченки, коротко знакомый и дружный с Костомаровым, по прибытии Шевченки, месяца через два уехал в С.-Петербург.

Скука об утрате друга, желание поделиться с кем-либо своими думами, еще теснее связали Костомарова с Шевченкой. Шевченко не так уже нападал на ляхов, от славянщины был не прочь, но за то жестоко порицал Хмельницкого, что и выразил в стихотворении: „Великий лех“...

Порицая Хмельницкого, Шевченко превозносил Мазепу, Посяда порицал за кровавое достижение власти. Я тоже. Что же Костомаров? Он и да и нет! Находил пороки в Хмельницком и доблесть в Мазепе. В это время он собирался издавать собранные им песни. Приехал бывший проф. Максимович, Костомаров предложил о песнях ему, тот согласился; объявил невозможность издавать журнал в Киеве за безденежьем, обещался приехать после Рождества Христова, и не приехал и ничего не сделал. И так песни остались неизданными. Но Костомаров в это время издал славянскую мифологию славянским шрифтом; приготовлял к отпечатанию свои лекции и чуть ли не собирался писать историю Малороссии. Тогда же был и Кулиш в Киеве дня два и уехал свататься к сестре Белозерского. Кулиш просил Костомарова и Шевченко на свадьбу. Костомаров не поехал, Шевченка, кажется, был. Таким образом прошел 1846 г. и наступил 1847 г.» (Т. 2. № 517. С. 502–504).

Мы позволили себе привести столь обширное извлечение из показаний Андруцкого, так как они являются, пожалуй, наиболее откровенным описанием настроений и мнений периода, последовавшего за первоначальным образованием общества, и характерны даже в тех случаях, когда содержат прямые фактические ошибки. Так, переводы псалмов Шевченко написал еще до знакомства с Косто-

маровым (Возняк, 1921: 204), но неверное указание Андрузского примечательно в отношении характеристики религиозности Костомарова и его воздействия на окружающих. В приобщенных к следствию письмах Кулиша к Костомарову (к сожалению, ответные письма не сохранились) содержится ценная информация о взглядах последнего того времени и его разногласиях с Кулишем. Так, 2.V.1846 г. тот вопрошал Костомарова: «Зачем Вы говорите, что Вы не украинец? что только из гуманистической идеи вертитесь между нами? Мы даем Вам права гражданства, при том же маменька Ваша украинка! Я не могу Вас так любить, как люблю, когда считаю Украинцем. Можно ли так отвергать столь драгоценное для нас имя?» (Міяковський, 1928: 53). Через два месяца Кулиш горячо писал (27.VI.1846):

«Молодые люди, вдаваясь в изучение Малороссии, нисколько не лишают себя этим возможности усвоить образованность Европейскую. Зачем брать крайности? Можно любить свой буколический хутор и восхищаться блеском столицы еще больше, нежели человек, никогда на хуторе не живший. Можно знать наизусть все наши песни, предания и летописи и усвоить себе образованность Европейскую в высшей степени. Я не понимаю, как Вы одним решительно исключаете другое! <...> Зачем вы говорите, что у нас, Украинманов, идеалы в голове мужики, свинари, чумаки и т. п. рабы? Я в этих словах не узнаю вас. Это брань и больше ничего. Украинец сочувствует и Ахиллесу и Александру Македонскому и крестовым походам и Генрихам и Людовикам и прочая, но следует ли из этого, чтоб он, оставив свое, писал о них? Пусть пишут о них Греки и Немцы; нам довольно знать это — и мы знаем. Но оставить своих полуобразованных Гекторов и Ахиллов потому только, что мы не имеем Периклов, Сократов, Наполеонов — верх безрассудства. И вы ли, Н. И., вы ли можете говорить эти ужасные слова: „я не обвиняю тех, которые холодны к своему родному. Человек стремится к лучшему, а чужое лучше!“ Нет, у вас засохла живая струна, без которой никогда не будет гармонии в ваших ученых и поэтических действиях. Я обвиняю строго! и учить не быть холодным к своему значит то же, что сказать мертвому: воскресни! <...> Если чужое лучше (в чем я не согласен), то следует ли из этого, что наше ничего не стоит, не стоит усилий целой жизни таких ничтожных существ, как один человек сам по себе? <...> Повторяю, довольно нам изучить иностранное, руководствоваться опытами веков, но действовать у себя дома. — Христианство же никак не должно охлаждать наше стремление к развитию своих племенных начал, ибо не без причины брошено в землю зерно и пустило уже глубокий корень. Потеря нашего языка и обычаев есть худшее, что может случиться: а вы говорите, что лишь бы мы были отличными христианами, это еще не несчастье. Не забудьте, что наш Украинец (простой) только до тех пор и христианин, пока все его обычаи и верования при нем. Вы говорите о нас, людях высшего полета, а для массы такое превращение невозмож-

но. Ей нужны деды, батьки, обычаи, чтоб быть твердыми в добродетелях¹⁷» (Міяковський, 1928: 53, 54)¹⁸.

11 сентября 1846 г. Кулиш настаивал:

«Разделения Вашего на избранных и неизбранных я не принимаю, и боюсь, чтоб Вы не зашли с таким взглядом на историю в глубокий мрак... Благодать Божия всем дарована, и в каждом народе муж светлого ума и чистой воли может сделать много для его чести и будущего могущества (нравственного или вещественного). До сих пор в Малороссии являлось их мало. Все наши лучшие умы обращали свою деятельность для пользы своего семейства, для ложно понимаемого спасения своей души, для науки отвлеченной от тока настоящей жизни; теперь только, именно теперь, когда вы раскрыли рот, чтобы сказать с кафедры: „Душа этого народа ничтожна“, самые горячие чувства малороссийских деятелей сосредотачиваются в народе. Браните низость представителей его, но не называйте ничтожною его душу. Это непростительное богохульство!» (Міяковський, 1928: 58)¹⁹.

В период с весны 1846 до зимы 1847 г. Костомаров предстает утверждающим свою великорусскую идентичность, культурный космополитизм, подразделение народов на избранные и неизбранные с сомнением, по меньшей мере, в избранности украинского народа и т. д. Понятно, что подобные взгляды, казалось бы, слабо согласуются с авторством мессианского текста — однако именно они, по нашему мнению, при более глубоком рассмотрении обуславливают логику последнего.

Прежде всего обратимся к указанному выше аргументу В. Петрова — вопреки ему, «Книга бытия...» прямо исходит из подразделения народов на исторические и неисторические, те, которым дана благодать (в первую очередь — народы «яфетические»), и те, которым в ней отказано («симовы»). В рамках романтического национализма 1830–1840-х гг. вопрос о статусе народа — это вопрос о его историческом призвании, предназначении, месте в мировой истории. Ответ, даваемый Мицкевичем применительно к народу польскому, звучит как мессия среди народов мира (с проблематичностью, негарантированностью этого призвания — способности польского народа исполнить свое предназначение и о сроках этого исполнения). «Книга бытия...», создающаяся как вариация на тему «Книги народа

17. На следствии Костомаров комментировал это письмо следующим образом: «...я к нему [т. е. Кулишу. — А. Т.] писал, что истинный христианин не должен пристращаться к каким-нибудь обычаям народным и вообще к массе того, что называется народностью, и что ежели малороссийская народность пропадет совершенно, то это еще не потеря для человечества, ибо значит так нужно ...» (Т. 1. № 346. С. 280–281).

18. Что спор о христианстве продолжался, свидетельствует письмо Кулиша от 16.I.1847 г., в котором тот зовет Костомарова к себе на свадьбу на хутор Белозерских Матроновку со словами: «Мы окончим наш диспут о христианстве, если это будет дозволено комнатами» (Міяковський, 1928: 69).

19. На следствии Кулиш показывал: «Костомаров писал ко мне в одном из своих писем: „Горькая, ничтожная судьба Украины происходит от ничтожества души народа“» (Т. 2. № 36. С. 48).

польского», призвана поместить Украину в соответствующий, всемирно-исторический контекст — и здесь возникает и субъективное, и объективное затруднение.

В субъективном плане нам кажется возможным доверять поздним мемуарным суждениям Костомарова об увлечении, доходящем до фанатизма, — но именно увлечении, в том числе связанном с разговорами с Шевченко, атмосферой тайного общества в его «рыцарской» или «орденской», как называл ее Петров, фазе развития (Петров, 1928: 147)²⁰. В результате созданный текст — фантазия, созданная под влиянием оригинала, с привнесением новых мотивов без соответствующей переработки несущей конструкции, что разрушает внутреннюю логику — так как логика новых мотивов вступает в противоречие с лейтмотивом — а сам лейтмотив утрачивает основание. В варианте, созданном Костомаровым, остается необъяснимым всемирно-историческое значение Украины, тема мессианства утверждается, но не обосновывается, а в заключительной части внезапно меняется масштаб рассмотрения — на смену всемирной истории приходит славянство, и роль Украины описывается лишь применительно к нему. Мир внезапно сузился до «славянского племени», а в нем — до Польши, Украины и Москвы.

В плане же объективном разграничение внутри условного «кирилло-мефодиевского круга» на преимущественно «славянофилов» и «украинофилов», сделанное в показаниях студента Андрузского²¹, оказывается не столько точным, сколько перспективно верным, одновременно объясняющим слабость собственно «славянофильской» ориентации — ведь в рамках последней крайне затруднительно обосновывать самостоятельность Украины, формировать национальный про-

20. В изданной в 1929 г. под псевдонимом «В. Домонтович» беллетризированной истории Костомарова и Алины Киссель, В. Петров, напротив, отстаивает авторство «Книги бытия...» за Костомаровым, утверждая, что «наилучшим доказательством, которое свидетельствовало бы о его авторстве, может служить тот факт, что взгляды, высказанные в „Книгах бытия“, не имеют ничего общего с взглядами, которые он высказывал в своей переписке с Кулишем.

И это не плохой аргумент, чтобы доказать авторство Костомарова. Костомаров слишком причудливый и непоследовательный, чтобы он одновременно не мог быть автором „Книг бытия“ и вместе с тем отрицать мысли, в этих „Книгах“ развитые» (Домонтович [Петров], 1988: 256).

21. Отвечая на вопросы следствия 14 апреля 1847 г., Андрузский писал:

«О существовании тайного общества, называемого Славянским обществом св. Кирилла и Мефодия, мне известно не было, а о существовании просто Славянского — я знал вот что:

а) особенной организации не имело; связывалось и держалось доброю волею каждого, а не какими-либо положениями и уставами;

б) главная цель, соединявшая всех, была: соединение славян воедино, принимая за образец Соединенные Штаты или нынешнюю конституционную Францию;

с) частная при ней существовавшая цель малороссийская: восстановление Гетманщины, если можно отдельно (желание тайное), если нельзя — в Славянщине;

д) о цели польской не упоминаю. Она мила каждому родовому поляку и обнаруживается одними только желаниями и надеждами. Вот она: восстановление Польского королевства по Днепру и реку Южную Двину. Представителем главной цели: Костомаров — умеренно; полный его последователь — Н. И. Гулак.

Представителем малороссийской цели: поэт Шевченко и Кулиш — в высшей степени; умеренный — Посяда — казенный крестьянин. Он только и думал, что о крестьянах.

Маркович, Навроцкий и Белозерский держались обеих целей и были более ученики, чем учителя» (Т. 2. № 517. С. 501).

ект, поскольку смысл любой элемент этого славянского целого получает только через целое, именно оно имеет свою историческую роль. Напротив, «цель мало-российская» предполагает движение в логике Кулиша — отказа от разделения на народы исторические и неисторические, утверждение равной призванности всякого народа, поскольку ресурсы для утверждения всемирно-исторического призвания Украины в логике романтического национализма отсутствуют. Таковыми выступало первоначально 1) призвание религиозное, как мы это и видим у Мицкевича, — и затем, в секуляризованном виде, 2) привнесение нового начала во всемирную историю, как, например, в ближайшие годы предложит Герцен, увидев (благодаря Гакстаузену) в сельской общине особый путь в будущее, позволяющий справиться с несчастьями буржуазного западноевропейского мира. Ни тот, ни другой вариант неприемлем для украинского национализма, так как не позволяет осуществить дифференциацию по отношению к конкурирующим проектам — польскому и «большой русской нации». «Славянский» проект для украинского движения оказывается «поглощающим» — через неизбежное включение на уровне гранд-нарратива в иные исторические общности, которые уже обладают статусом исторических субъектов.

Таким образом, «Книга бытия...» выразительно фиксирует, с одной стороны, стремление к формированию собственного национального образа в рамках романтической логики «исторического избранничества», а с другой — отчетливо выявляет противоречия, возникающие при попытке прямо заимствовать существующую модель. Последующее развитие украинского национального движения продемонстрирует развертывание тех возможностей, что даны в «Книге бытия...» — начиная от «культурничества», предполагающего включение в иную общность, логику автономии, варианта в рамках («общерусского» или «славянского») целого, до политического движения, направленного к обретению национальной независимости.

Литература

- Домонтович В. [Петров В.]. (1988). Проза. У 3 т. Т. 1 / Ред. Ю. Шевельова. Нью-Йорк: Сучасність.
- Зайончковский П. А. (1959). Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847). М.: Изд-во Моск. ун-та.
- Костомаров Н. И. (1885). Автобиография Николая Ивановича Костомарова // Русская мысль. № 5. С. 190–223.
- Костомаров Н. И. (1890). Литературное наследие. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича.
- Костомаров Н. И. (1922). Автобиография Н. И. Костомарова / Под ред. В. Котельникова. М.: За друга.
- Мицкевич А. (1902). Собрание сочинений Адама Мицкевича в переводах русских писателей под редакцию П. Н. Полевого. В 4 т. Т. IV. 2-е изд. СПб., М.: Издание тов-а М. О. Вольфа.

- Погодин А. Л.* (1912). Адам Мицкевич: его жизнь и творчество. В 2 т. Т. II. М.: Издание В. М. Саблина.
- Рудас-Гроздка М.* (2007). Порабощенное славянство / Пер. с польского Н. М. Филатовой // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре / Отв. ред. В. А. Хорев. М.: Наука. С. 43–57.
- Артюх В. О.* (2011). Історіософія Миколи Костомарова // Сумська старовина. № XXXIII–XXXIV. С. 158–165.
- Возняк М.* (1921). Кирило-Методіївське Братство. Львів: Фонд «Учітеся, брати мої».
- Гермайзе О.* (1925). П. Куліш і М. Костомаров, як члени Кирило-Методіївського братства // Шевченко та його доба. Зб. перший. К.: Державне видавництво України. С. 38–56.
- Дзядевич Т.* (2001). Ідеологема месіанства в «Книзі польського народу і польського пілігримства» Адама Міцкевича, «Книгах буття українського народу» Миколи Костомарова і циклі «Три літа» Тараса Шевченка // Наукові записки НаУКМА. Т. 19. Ч. 1. С. 20–24.
- Скельчик С.* (2010). Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. К.: КІС.
- Єфремов С.* (1924). Біля початків українства: генезис ідей Кирило-Методіївського Брацтва // Україна. Кн. 1–2. С. 88–94.
- Кирило-Методіївське товариство (1990). У 3 т. / Гол. ред. П.С. Сохань. К.: Наукова думка.
- Міяковський В.* (1928). Люди сорокових років: кирило-методіївці в їх листуванні // За сто літ. Кн. 2. К.: Державне видавництво України. С. 33–98.
- Міяковський В.* (1984). Недруковане й забуте: громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література / Ред. М. Атонович. New York: The Ukrainian Academy of Art and Sciences in the U.S.
- Нахлик Є.* (2007). Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель. В 2 т. Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша. К.: Український письменник.
- Оглоблин-Глобенко М.* (1958). Історико-літературні статті / Упорядкував Іван Кошелівець. Мюнхен: Сісего.
- Петров В.* (1928). Різдво р. 1846 // Шевченко. Річник перший. К.: Державне видавництво України. С. 139–154.
- Пінчук Ю. А.* (1992). Микола Іванович Костомарова. К.: Наукова думка.
- Сергієнко Г. Я.* (1971). Історіографія Кирило-Методіївського товариства // Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип. 4 / Відп. ред. І. О. Гуржій. К.: Наукова думка. С. 150–173.
- Сергієнко Г. Я.* (1983). Т. Г. Шевченко і Кирило-Методіївське товариство. К.: Наукова думка.
- Смолій В. А. та ін.* (2005). Микола Костомаров: віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник. К.: Вища школа.
- Gołąbek J.* (1932). «Księgi Narodu Polskiego...» A. Mickewicza i «Knyhy bytija Ukrainskoho Narodu» M. Kostomarowa // Sbornik praci sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Svazek II, předášky. Praha. S. 55–56.

Mickiewicz A. (1832). *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*. Paryż: Drukarnia A. Pinard.

Papazian D. (1970). N. I. Kostomarov and the Cyril-Methodian Ideology // *Russian Review*. 1970. Vol. 29. № 1.

Variation on a Theme of Political Theology: "The Book of the Genesis of the Ukrainian People"

Andrey Teslya

Associate Professor, School of Social Studies and Humanities, Pacific National University

Address: Tihookeanskaya str., 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

"The Book of the Genesis of the Ukrainian People" is one of the key documents of modern Ukrainian nationalism. It is the most prominent document of the Cyril and Methodius Brotherhood (1846–1847). After N. I. Kostomarov had been arrested at the end of March 1846, he claimed that the seized document was based on "The Books of the Polish People and of the Polish Pilgrimage" by Adam Mickiewicz (1832). This paper compares these two documents and shows the continuity of the Kostomarov work in relation to the writing of Mickiewicz. It also shows the differences which are relevant for the internal logic of the "messianic" philosophy of history and political philosophy. First, in contrast to "The Books of the Polish People and the Polish Pilgrimage," the main ideas of Pax Christiana are rejected, and the Middle Ages are reconsidered in "The Book of the Genesis" as an age of Christianity's distortion. Second, in "The Book of the Genesis" there is a purpose to provide a messianic understanding of the Ukraine. Thus, the historical framework is narrowed, and the document provides a universal framework appealing to Slavic nations. It is the Ukraine which can awaken these nations since it latently keeps the principle of the Polish-Lithuanian Commonwealth ("Respublica" or "Rzeczpospolita"), and is able to revive the Commonwealths of Poland and Great Russia. Therefore, "The Book of the Genesis" shows the aspiration for building a national image in terms of Romantic ideas of "historical peculiarity," and at the same time, clearly indicates the controversies that emerge as a result of following the existing model.

Keywords: N. I. Kostomarov, A. Mickiewicz, nationalism, political messianism, romanticism, Ukrainophilia

References

- Artjukh V. (2011) Istoriosofija Mykoly Kostomarova [Kostomarov's Philosophy of History]. *Sums'ka starovyna*, no. XXXIII–XXXIV, pp. 158–165.
- Domontovitch V. (1988) Proza. T. 1 [Prose, Vol. 1], New York: Suchasnist'.
- Dzjadevych T. (2001) Ideologema mesianstva v "Knyzi pol's'kogo narodu i pol's'kogo piligrystva" Adama Mickevycha, "Knygah buttja ukrai'ns'kogo narodu" Mykoly Kostomarova i cykli "Try lita" Tarasa Shevchenka [The Messianic Ideology in the "The Book of Polish People and Polish Pilgrimage" by Adam Mickiewicz, "The Books of Genesis of the Ukrainian People" by Mykola Kostomarov, and "The Three Years" Cycle by Taras Shevchenko]. *Naukovi zapysky NaUKMA*, no 19, part 1, pp. 20–24.
- Efremov S. (1924) Bilja pochatkiv ukraïnstva: genezys idej Kyrylo-Methodijevs'kogo Bractva [At the Beginning of Ukrainophilism: The Genesis of Ideas of the Cyril–Methodius Brotherhood]. *Ukraina*, vol. 1–2, pp. 88–94.

- Ekelchuk S. (2010) *Ukrainofily: svit ukrains'kyh patriotiv drugoi polovyny XIX stolittja* [Ukrainophiles. The World of Ukrainian Patriots in the Second Half of the 19th Century], Kiev: KIS.
- Germajze O. (1925). P. Kulish i M. Kostomarov, jak chleny Kyrylo-Methodii'vs'kogo bratstva [P. Kulish and N. Kostomarov as Members of the Cyril–Methodius Brotherhood]. *Shevchenko ta joga doba. Zb. pershyj* [Shevchenko and His Time, Issue 1], Kiev: Derzhavne vydavnytvo Ukrai'ny, pp. 38–56.
- Gołąbek J. (1932). "Księgi Narodu Polskiego . . ." A. Mickewicza i "Knyhy bytija Ukrainskoho Narodu" M. Kostomarov. *Sbornik praci sjezdu slovanských filologů v Praze 1929*, Svazek II, předášky, Praha, pp. 55–56.
- Kostomarov N. (1885) *Avtobiografija Nikolaja Ivanovicha Kostomarova* [Autobiography by Nikolay Ivanovich Kostomarov]. *Russkaja Mysl'*, no. 5, pp. 190–223.
- Kostomarov N. (1890) *Literaturnoe nasledie* [Literary Heritage], Saint-Petersburg.: Tipografija M. M. Stasjulevicha.
- Kostomarov N. (1922) *Avtobiografija N. I. Kostomarova* [Autobiography by N. I. Kostomarov] (ed. V. Kotelnikov), Moscow: Zadruga.
- Mickiewicz A. (1832) *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*, Paris: A. Pinaud.
- Mickiewicz A. (1902) *Sobranie sochinenij Adama Mickevicha v perevodah russkikh pisatelej. Tom 4* [Collected Works of Adam Mickiewicz, Translated by Russian Writers, Vol. 4] (ed. P. Polevoy), Saint-Petersburg: Izdanie tovarishchestva M. O. Volfa.
- Mijakovskij V. (1928) *Ljudy sorokovyh rokiv. (Kyrylo-metodiivzy v ih lystuvanni)* [People of 1840s. The Members of the Cyril–Methodius Brotherhood in their correspondence] // *Za sto lit. Vol. 2*. Kyiv: Derzhavne vydavnytvo Ukrai'ny, pp. 33–98.
- Mijakovskij V. (1984) *Nedrukovane j zabute: gromads'ki ruhy dev'jattjadcatogo storichchja. Novitnja ukrains'ka literatura* [Unpublished and Forgotten Writings: Political and Intellectual Trends of the 19th Century. Modern Ukrainian Literature] (ed. M. Atonovych), New York: The Ukrainian Academy of Art and Sciences in the U.S.
- Nahlyk E. (2007) *Pantelejmon Kulish: osobystist', pys'mennyk, myslitel'. Tom 1* [Pantelejmon Kulish: A Person, a Writer, and a Thinker, Vol. 1], Kiev: Ukrains'kyj pys'mennyk.
- Ogloblyn-Globenko M. (1958) *Istoryko-literaturni statti* [Essays in History of Literature]. München: Cicero.
- Papazian D. (1970). N.I. Kostomarov and the Cyril-Methodian Ideology. *Russian Review*, vol. 29, no 1.
- Petrov V. (1928). Rizdvo r. 1846 [1846's Christmas]. *Shevchenko. Richnyk pershyj* [Shevchenko, Issue 1], Kiev: Derzhavne vydavnytvo Ukrai'ny, 1928, pp. 139–154.
- Pinchuk Y. (1992) *Mykola Ivanovych Kostomarov* [Nikolay Ivanovych Kostomarov], Kiev: Naukova dumka.
- Pogodin A. (1912) *Adam Mickevich: ego zhizn' i tvorcestvo. Tom 2* [Adam Mickiewicz: His Life and Work, Vol. 2], Moscow: Izdanie V. M. Sablina.
- Rudas-Grozodka M. (2007) *Poraboshhennoe slavjanstvo* [Enslaved Slavs]. *Adam Mickevich i pol'skij romantizm v ruskoj kul'ture* [Adam Mickiewicz and Polish Romanticism in Russian Culture] (ed. V. Horev), Moscow: Nauka, pp. 43–57.
- Sergienko G. (1971) *Istoriografija Kyrylo-Mefodii'vs'kogo tovarystva* [The Historiography of the Cyril–Methodius Brotherhood]. *Istoriografichni doslidzhennja v Ukrai'ns'kij RSR. Tom 4* [Historiographic Studies in the Ukrainian SSR, Vol. 4] (ed. I. O. Gurzhi), Kiev: Naukova dumka, pp. 150–173.
- Sergienko G. (1983) *T. G. Shevchenko i Kyrylo-Mefodii'vs'ke tovarystvo* [T.G. Shevchenko and the Cyril–Methodius Brotherhood], Kiev: Naukova dumka.
- Sokhan P. (ed.) (1990) *Kyrylo-Mefodii'vs'koe tovarystvo* [The Cyril–Methodius Brotherhood], Kiev: Naukova dumka.
- Smolij V. et al. (2005) *Mykola Kostomarov: vihy zhyttja i tvorhosti: Encyklopedychnyj dovidnyk* [Nikolay Kostomarov: Milestones of the Life and Work: Encyclopedic Reference], Kiev: Vyshha shkola.
- Voznjak M. (1921) *Kyrylo-Mefodiiv's'ke Bratstvo* [The Cyril–Methodius Brotherhood], Lviv: Fond "Uchitesja, braty moi".
- Zajonchkovskij P. (1959) *Kirillo-Mefodievskoe obshhestvo (1846–1847)* [The Cyril–Methodius Brotherhood (1846–1847)], Moscow: MSU Press.

Индивидуальное и структурное в социальной мобильности в контексте индивидуализации: обзор эмпирических исследований

Полина Ерофеева

Преподаватель Нижегородского государственного лингвистического университета

Адрес: ул. Минина, д. 31а, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 603155

E-mail: polina.erofeeva@gmail.com

В статье раскрываются особенности эмпирических исследований, рассматривающих проблему индивидуализации современных траекторий мобильности. Согласно теории индивидуализации, значение структурных факторов, прежде всего социального происхождения, в индивидуальной жизни ослабевает, уступая место факторам субъектным — личным предпочтениям и талантам. Задача интегрировать субъект, не теряя структурной перспективы, — одна из основных для изучения современных «индивидуализованных» траекторий мобильности. Исследования, посвященные индивидуализации, по-разному решают эту задачу и адаптируют теоретические понятия под нужды эмпирического анализа. Обзор публикаций, на основе которого систематизируются методы, аналитические категории и эмпирические результаты таких исследований, показывает, что существуют несколько направлений эмпирических исследований индивидуализации. На уровне индивидуальных биографий изучаются личностные факторы, ставится вопрос о том, насколько они определяют жизненную траекторию. На уровне биографий поколений индивидуализация рассматривается в контексте неравенства, формулируется проблема ее социально-экономических и гендерных пределов. На институциональном уровне индивидуализация анализируется как принцип современных рынков труда и институтов социального государства. С одной стороны, об индивидуализации говорится как о распространении новых ценностных ориентаций, биографической установки на независимость, гибкость и амбициозность, реализацию которой поощряют современный рынок труда, система образования и социального обеспечения. Это находит отражение в дестандартизации и дифференциации биографий. С другой стороны, возможности реализовать биографические планы продолжают зависеть от социальных условий. В статье обсуждаются основные категории, позволяющие осмыслить эти противоречия: структурированная индивидуализация, развивающаяся и пассивная индивидуализация, биографический серфинг. Обзор выходит за пределы социологии молодежи, в рамках которой наиболее часто рассматриваются проблемы индивидуализации, и затрагивает другие отрасли социологического знания, приводя результаты исследований индивидуализации в зрелости и старости.

Ключевые слова: индивидуализация, социальная мобильность, биография, биографический подход, неравенство

© Ерофеева П. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта «НКО как социальный лифт: траектории индивидуальной мобильности в российском некоммерческом секторе» (грант РГНФ № 14-33-01248; руководитель — канд. социол. наук А. А. Яковлева).

Бытовые и научные представления о социальной мобильности нередко расходятся. Массовая культура ассоциирует мобильность с тяжелым и честным трудом, отличной учебой и олимпийской волей к победе, с ней героя обязательно ждет заслуженный успех — успех, которого он добился сам. Для современного россиянина эти представления, пропагандируемые в советское время, воспроизводятся на новом уровне в условиях глобализованной культуры, причем не только по знакомству с голливудскими первоисточниками «self-made man». Образец социального успеха, мятущийся герой отечественного кинофильма «Духless» (2012) с гордостью отмечает, что «английские учебники по экономике штудировал», а первую зарплату не растратил по пустякам, «а поехал Рим и Флоренцию смотреть».

Социологическая наука, напротив, возлагает ответственность за успехи и неудачи мобильности на социальные институты. Существуют универсальные стратифицирующие характеристики, которые во многом определяют жизнь человека (Marx, 1992 [1867]; Weber, 2009 [1921]; Davis, Moore, 1945; Bendix, Lipset, 1966; Bourdieu, Passeron, 1990; Erikson, Goldthorpe, 1992; Wright, 1997; Weeden, Grusky, 2005). Семья и класс, пол и цвет кожи, поколение, система образования и рынок труда задают характер биографии человека, ключом к которой принято считать образование и профессию (Hodge et al., 1966; Goldthorpe, Hope, 1974; Bourdieu, 1984; Grusky, Sorensen, 1998; Brown et al., 2014). От образования и трудоустройства, в свою очередь, зависят материальное положение и социальный статус человека (Duncan, 1961; Laumann, 1966; Solga, Konietzka, 1999; Chan, Goldthorpe, 2004; Breen, Rotman, 2014), круг его друзей (Blau, Duncan, 1967; Chan, Goldthorpe, 2007), интимные отношения и выбор супруга (Wiik et al., 2010), образ жизни (Bourdieu, 1984; Wilson, Musick, 1997; Warde, Martens, 2000; Laidley, 2013), состояние здоровья (Bartley, 2004; Scambler, 2007), эстетические притязания и потребительские предпочтения — от музыки и газет (Peterson, Kern, 1996; Chan, Goldthorpe, 2007) до политических идеологий (Lipset, 1979 [1963]; Kohn, 1989; Evans, 1999; Gross, Fosse, 2012). Ведущим — и принципиальным — остается структурный (или институциональный) подход, позволяющий раскрывать закономерности жизненных траекторий и рассматривающий мобильность в контексте способности социальных структур к воспроизводству или преодолению неравенства возможностей. В рамках этого подхода социальная мобильность — не частная прихоть, а важная общественная и научная проблема. Создание открытых, всеобщих каналов для восходящей мобильности гарантирует возможность продвижения наиболее способным, талантливым и достойным независимо от их социального происхождения, обеспечивая тем самым успешное, устойчивое развитие общества. Вместе с тем в условиях социального, экономического, гендерного и культурного неравенства возможности восходящей мобильности остаются неравными (Bouchard, Zhao, 2000; Константиновский, 2003; Шкаратан, 2011; Morgan et al., 2011; Gonski, 2012), в том числе в наиболее открытых, развитых и благополучных обществах (Breen, 2004; Krugman, 2007; Bailey, Dynarski, 2009; McInerney, Smyth, 2014). Экономический кризис 2008 года повсеместно усугубил это неравенство, обострив академический и общественно-политический

интерес к вопросам социальной мобильности (Ferozhar, 2011; Chetti et al., 2013), факторам мобильности и иммобильности в посткризисную эпоху и в контексте цикличности современного глобального капитализма (Reardon, 2011). Понимание факторов, механизмов и процессов восходящей мобильности в разных странах остается *актуальной научной проблемой* современной мировой социологии.

В рамках научного знания о структурной природе социальной мобильности не раз отмечались простодушный оптимизм и даже лицемерие масскультовых образов восходящей мобильности. В то же время расхождение научных и бытовых представлений говорит не только о том, как правы одни и заблуждаются другие, но и о двойственности и сложности самого феномена социальной мобильности, сочетающего грани коллективного и личного, структуры и агентства. Несмотря на закономерности, истории жизни разнообразны и непредсказуемы (Bertaux, Kohli, 1984; Heinz, Kruger, 2001; Bertaux, Thompson, 2006 [1997]). Реалии современного гипермобильного общества повышают роль личности в биографии, заставляя пересматривать подходы и методы изучения социальной мобильности (Берто, 1997; Urri, 2007; Carocci, 2011; Голенкова, 2014). Стабильный экономический рост, развитие системы образования и социального страхования ведут к значительному росту доходов населения (Newman, 1999 [1988]; Mishel et al., 2005; Mendenhall et al., 2008), ослаблению классовых барьеров (Heinz, Kruger, 2001) и разрыхлению сословных общностей (Бергер, 2008; Jones et al., 2010). Вкупе с динамизмом и расслабленностью социальной структуры рисковый, циклический характер глобального капитализма (Budros, 1997; Mendenhall et al., 2008), усилившиеся потоки транснациональной миграции (Marshall, 2001; Mayer, 2004), нестабильность рынков труда (Evans, 2002; Schoon, 2007; Heinz, 2009) и растущий разрыв между образованием и трудоустройством (Furlong, Cartmel, 2006; Holland, Thompson, 2009) повышают значение индивидуального выбора (Heinz, Kruger, 2001; Giddens, 2013 [1991]; Graaf, van Zenderen, 2013), увеличивают разнообразие жизненных возможностей и траекторий жизни (Cote, 2002), делают менее предсказуемыми время и последовательность переходов от образования к трудоустройству и выходу на пенсию (Vickerstaff, Cox, 2005). Понимание современного модуса мобильности (Толстокурова, 2013) выдвигает на первый план *мобильного субъекта* и обнажает недостаточную способность структурного подхода выявлять и объяснять различия индивидуальных траекторий и многообразие проявлений мобильности, оценивать роль личных намерений и решений, индивидуальных поворотных моментов биографии в социальной мобильности.

Интеграция мобильного субъекта в исследованиях социальной мобильности — важная методологическая задача, решение которой тесно связано с развитием *биографического подхода* (life-course approach) к мобильности. Этот подход можно определить широко как объединяющий исследования биографий и историй жизни человека, семей и поколений с использованием как количественных, так и качественных методов (Heinz, Kruger, 2001). В рамках этого подхода жизнь человека понимается как результат взаимодействия структурных сил и индиви-

дуальных действий и может быть описана как заданная социальным порядком последовательность этапов жизни, на каждом из которых индивид выбирает для себя определенные социальные роли и статусы (Elder, 1998). В этом смысле биографический подход также далек от масскультовых представлений о всемогущей роли личности, однако поскольку устройство современных биографий все меньше задано социальным шаблоном и все более динамично, серьезным вызовом для биографических исследований становится способность оценивать роль субъектных факторов в оформлении современных биографий (Heinz, Kruger, 2001).

С одной стороны, субъектные факторы предлагается оценивать в оппозиции к структурным, и биографические исследования оказываются актуальными для целого ряда новейших течений социальной мысли, противопоставляющих этнографический интерес к биографии как источнику «текстуры, деталей и глубины» (Lewis, 2007: 561), более изощренному и критичному пониманию биографий как поля борьбы индивидуального против системного. В русле феминизма этот интерес следует понимать в связке с желанием отвоевать, восстановить подавленные нарративы (Middleton, 1993; Glazer-Raymo, 2001). В традиции устной истории основным мотивом становится демократическое качество биографических исследований как видения «снизу», «от народа», освобожденного от навязанных смыслов системы (Plummer, 1995; Thompson, 2000; McMahan, Rogers, 2013). Исследовательский акционизм, в свою очередь, предлагает рассматривать индивидуальную историю как возможность вооружить исследуемого, сделать его субъектом исследования (Dhunpath, 2000; Рогозин, 2015). В рамках социологии детства и юности интерес к индивидуальным историям жизни связан с пониманием, что «дети сами являются главными знатоками собственной жизни» (McInerney, Smyth, 2014: 239). По-своему формулирует вопрос о биографическом разнообразии постмодернистская философия, предлагая отказаться от таких категорий классической социологии, как профессия, работа и класс, якобы определяющих социальную идентичность человека (Bhat, 2013), и основой современных образов жизни считать потребление, а не производство (Lyon, 1999).

С другой стороны, интересны попытки рассматривать структурные и субъектные факторы в совокупности, не противопоставляя их друг другу (Evans, 2002; Cote, 2002). Большой резонанс получила теория индивидуализации, не отрицающая роль социальных структур в мобильности, но пересматривающая соотношение субъектных и структурных факторов. Толкующая современный социальный порядок как основной фактор раскрепощения биографий от влияния традиционных социальных структур, эта теория формирует новое поле эмпирических исследований мобильности, задающихся вопросом о том, как меняются характер влияния и конфигурация структурных и субъектных факторов в оформлении современных биографий. Тем самым эмпирические исследования индивидуализации вносят серьезный вклад в межпарадигмальную дискуссию о влиянии структурного и индивидуального на мобильность в условиях позднего модерна.

Цель статьи заключается в том, чтобы выявить и упорядочить основные направления, аналитические категории и результаты эмпирических исследований индивидуализации. Для этого обзор научных публикаций организован следующим образом: в первом параграфе обобщаются основные тезисы теории индивидуализации, описываются предпосылки и сущность феномена индивидуализации в представлении теоретиков. К эмпирическим исследованиям мы переходим во втором параграфе, где обсуждаются результаты работ, имеющих дело с индивидуальными биографиями, они дают возможность оценить, в чем заключаются и как понимаются субъектные факторы в мобильности, как они взаимодействуют со структурными, какую роль играют. Следующее направление исследований — изучение индивидуализации в контексте биографий поколений, результаты этих исследований раскрываются в последующих параграфах в двух аспектах. В третьем параграфе анализируются работы, рассматривающие, как процессы индивидуализации, происходящие на индивидуальном уровне, формируют новые закономерности в биографических траекториях современных поколений и в какой степени эти новые закономерности меняют облик социально-экономического неравенства; в четвертом параграфе обсуждается, какое место занимают новые структуры — современные рынки труда и системы социального обеспечения и как они соотносятся с субъектными факторами, с одной стороны, и традиционными социальными структурами семьи, класса и гендера — с другой, в процессах индивидуализации. В заключении резюмируются основные выводы обзора.

Обзор научных публикаций осуществлялся нами с использованием устоявшейся общенаучной методологии, включающей методы анализа, синтеза, понимания и описания (Hart, 1998; Boote, Veile, 2005). Поскольку в современной литературе по данной проблематике наблюдается нехватка анализа *инфраструктуры* обзора (Webster, Watson, 2002; Muller et al., 2013), перед тем как перейти к основной теме, подробнее остановимся на этом аспекте. Анализ собранных работ проводился при помощи компьютерной программы «Citavi». Она облегчает оформление библиографии, позволяя добавлять источники по номеру «DOI/ISBN» и импортировать список литературы в необходимом формате. В отличие от других библиографических менеджеров, она также упрощает анализ и систематизацию результатов обзора. В программе был создан «библиографический проект», куда наряду с выходными данными вносились выдержки из работ и комментарии к ним. Далее полученные тексты (прямые и не прямые цитаты, комментарии, резюме, конспекты) были структурированы с помощью инструмента «Knowledge Organizer», позволяющего создать многоуровневый список категорий (тэгов) и распределить по ним выдержки из литературы. На основе сформированного списка, наглядно обобщающего основные направления и результаты работ по проблематике, и был подготовлен этот обзор.

Обстоятельства и процессы индивидуализации глазами теоретиков

Понятие индивидуализации фиксирует «основной структурирующий принцип» современности (Beck, 2007: 682), согласно которому идентичность больше не является данностью, а принадлежит человеку, который способен — и даже обязан — творить себя и свою судьбу сам (Bauman, 2013 [2000]). Будучи само по себе не новым¹, понятие индивидуализации наиболее прочно ассоциируется сегодня с работами У. Бека, Э. Гидденса, З. Баумана, посвященными социальным последствиям глобализации капитала, рисков, потребления и знания (Beck, 1992, 1994, 2007; Beck, Beck-Gernsheim, 2002; Beck, Lau, 2005; Bauman, 2013 [2000], 2007; Giddens, 2013 [1991]; Giddens, 2002 [1999]). Теоретики индивидуализации наследуют постмодернистский тезис о том, что информационно-технологический скачок и развитие рынка обнажили человека перед целым рядом новых — обобщенных и удаленных — «значимых других» и, следовательно, усложнили процесс самоидентификации (Cerulo, 1997; Bhat, 2013), в отличие от постмодернистов, они не говорят о тотальном конструировании личностей, а, напротив, подчеркивают способность современных людей «продюсировать, режиссировать и монтировать» свои биографии (Beck, 1994: 13).

Нет единого мнения о том, что считать причинами и необходимыми условиями индивидуализации. Ее представляют и логическим продолжением феноменов, заложенных Новым временем, и результатом качественно новых процессов Новейшего времени (также называемого «поздним» или «вторым» модерном). З. Бауман связывает метаморфозы социальной идентификации с господством потребления и глобализацией капитализма как основы общественных отношений (Bauman, 2013 [2000]). Э. Гидденс обращает внимание на возросший доступ к экспертному знанию, позволяющему уходить от культурных и традиционалистских посылок в принятии решений (Giddens, 2013 [1991]). У. Бек подчеркивает негативные социально-экономические последствия глобализации, усиление общественной неопределенности и становление «экономики и общества риска» (Beck, 1992) и в то же время отмечает значение классического государства благоденствия как принципиального условия для раскрепощения, освобождения от прессинга класса, гендера, семьи (Beck, Beck-Gernsheim, 2002; Beck, 2007).

Общей же предпосылкой индивидуализации биографий становится детрадиционализация общественной жизни. Она понимается как слом ценностных абсолютов, уход в прошлое монополии церкви или государства на истину и мораль (Berger et al., 1973; Heelas et al., 1996), распространение либеральной идеологии и становление «институционального индивидуализма», то есть такого режима общественных отношений, когда на человека (а не коллектив) и де-юре, и де-факто возлагается право принятия решений и ответственность за них (Beck, 2007). Де-

1. Индивидуализация обсуждается как признак общества либерального модерна (Berger et al., 1973; Lukes, 1973), эффект постиндустриальной экономики (Kumar, 1995); используется в социологии молодежи для описания процессов перехода к взрослой жизни (Irwin, 1995; Brannen, Nilsen, 2005).

традиционализация стирает прошлые шаблоны классовых или гендерных траекторий мобильности, позволяет человеку в условиях множества ценностных ориентиров и равенства граждан в правовом, социальном государстве прожить не условный биографический стандарт, как это было в жестко стратифицированном обществе раннего капитализма, но биографию собственного выбора, независимую от обстоятельств социально-экономического расслоения (Beck, 1992; Giddens, 2002 [1999]). В этих условиях принцип действия индивидуализации можно сравнить с законами отношений принципала и агента в экономической теории: чем больше у агента принципалов, тем более он независим, автономен относительно каждого и тем менее его действия способна объяснить логика агентства. П. Бергер (1996; 2008) метафорически описывает индивидуализацию как переход биографий от железнодорожной модели, где существуют фиксированный маршрут, расписание и скорость передвижения, к автомобильной модели, которая «предоставляет большую гибкость в отношении выбора времени отправления, пути следования... позволяет делать перерывы и двигаться в объезд, выбирая более привлекательные ландшафты» (Бергер, 2008: 20).

Подвергая сомнению роль социальных институтов в биографии, теория индивидуализации является предметом споров и критики. Некоторые критикуют теорию по формальным признакам и пеняют авторам (прежде всего Беку) на отсутствие эмпирической базы (Gudmundsson, 2000; Brannen, Nilsen, 2005; Atkinson, 2007; Beck, 2007) и изобилие внутренних противоречий. Нелогично одновременно говорить об индивидуализации как о системном макрофакторе и тут же отрицать наличие других факторов, таких как класс и гендер (Brannen, Nilsen, 2005). Другие подчеркивают, что суверенную деятельность человека следует считать иллюзией, а любые судьбоносные, биографические решения всегда принимаются в опоре на круг семьи и близких (Bhat, 2013). Далее отмечается «методологический национализм», культурная нечувствительность теории, преувеличившей значения индивидуализации как феномена, который если и имеет место, то только в пределах благополучного мира развитых стран (Woodiwis, 1996; Bhambra, 2007; Dawson, 2012; Jamieson, 2012; Bhat, 2013). А в продолжение утверждается, что в силу своей мнимой универсальности теория индивидуализации может быть даже опасна: она удобна в качестве аргумента для неolibеральной идеологии, легко отрицающей вклад структурных пороков, прежде всего социально-экономического неравенства, в частные неудачи (Brannen, Nilsen, 2005; Lazzarato, 2009).

Систематизируя многочисленную теоретическую критику индивидуализации, М. Доусон (2012) выделяет три основных ее типа. «Интеракционистская» критика видит проблему теории в том, что в ее центре — одинокий субъект, новая, «индивидуализованная» жизнь которого якобы является результатом больших исторических процессов Новейшего времени и при этом почему-то никак не зависит от непосредственных социальных отношений в кругу близких, друзей, сверстников. «Дискурсивная» критика рассматривает индивидуализацию как «неolibерализм в действии» (Lazzarato, 2009), помещая ее в более широкий контекст политиче-

ских проблем власти и подчинения в современных либеральных обществах. Наконец, «модернистская» критика сосредотачивается на ведущей роли класса и гендера и нередко полностью отрицает явление индивидуализации, показывая, что если она и имеет место, то ничего нового, исторического в ней нет (Atkinson, 2010; Duncan, 2011).

На стыке теории, ее критики и интереса к феномену биографического разнообразия формируется поле эмпирических исследований индивидуализации. Они служат лабораторией, где ведутся поиск и совершенствование методов и категорий биографического подхода для анализа индивидуализации, и предлагают более сложную и неоднозначную картину связанных с нею обстоятельств, механизмов, процессов и пределов.

Индивидуализация и роль субъектных факторов в мобильности

Теория индивидуализации указывает на то, что создание биографий становится процессом «все более динамичным, менее стандартизованным и более самостоятельным» (Heinz, 2001: 29). Поэтому изучение процессов индивидуализации подразумевает в первую очередь внимание к личностным факторам, определяющим способность человека делать выбор, принимать решения, совершать поступки. Как отмечают С. Хитлин и Г. Элдер, то, что человек обладает такой способностью, «не является откровением», однако в социологии понятие индивидуальной деятельности, или *способности к действию* (agency), представляется относительно новым (Evans, 2002). Человеческие действия, мотивации и решения зачастую рассматривают как «малозначительные, побочные или случайные» (Hitlin, Elder, 2007: 170), трактуя способность к действию скорее как некое остаточное явление за вычетом нормативных, социально предписанных алгоритмов поведения (Marshall, 2000) и игнорируя тот факт, что влияние социальных факторов не бывает ни прямым, ни абсолютным, ни фатальным (Evans, 2002). Пренебрежение к индивидуальной деятельности хлестко критикует М. Кон: «В то время как социальная психология хотя бы признает существование человека, остальные области социологического знания создают впечатление, что социальные институты функционируют без человеческого участия» (Kohn, 1989: 27).

Понятие способности к действию, «агентства», часто остается за пределами анализа, поскольку его сложно адаптировать для эмпирического исследования. В русле биографического подхода «агентство» подразумевает способность к долгосрочному планированию (Hitlin, Elder, 2007), которая должна проявляться в *моментах биографических переходов*, связанных с утратой прежних и обретением новых социальных идентичностей (Heinz, 2009; Evans, 2002). В контексте теории индивидуализации момент биографического перехода является вариантом *судьбоносного момента*, то есть такой ситуации или события, нередко за пределами человеческого контроля (Holland, Thomson, 2009), которые сам человек ощущает как определяющие для дальнейшей жизни и самовосприятия (Giddens, 2013 [1991]).

Судьбоносный опыт встречается на любом этапе жизни, может носить негативный, травмирующий характер и быть связан с увольнением (Mendenhall et al., 2008; Gabriel et al., 2013) или вынужденным выходом на пенсию (Vickerstaff, Cox, 2005), разводом родителей, болезнью, смертью близкого, конфликтом с семьей или сверстниками, насилием, ранней беременностью, экспериментами с наркотиками, переездом (Holland, Thomson, 2009).

Однако в чем заключается и на чем основывается способность к действию в биографические, судьбоносные моменты? Дж. Холланд и Р. Томсон пытаются операционализировать понятие судьбоносного момента применительно к историям взросления молодых людей в Великобритании. Они исходят из того, что использование этого понятия и выявление поворотных моментов в биографиях молодежи помогают обозначить «конфигурацию структурных обстоятельств, индивидуальных действий, временных рамок и случайностей» (Holland, Thomson, 2009: 451) в период перехода к зрелости. Опираясь на материал многолетнего исследования, в рамках которого было проведено несколько раундов интервью с респондентами на разных этапах их подросткового периода и молодости, исследователи предостерегают от того, чтобы характеризовать способность к действию как некое органическое умение что-то предпринять, столкнувшись с критическим моментом. Во-первых, принятые решения, при всей их значимости и сложности, были часто пересмотрены или даже переиграны респондентами так, что их жизнь в итоге никак не менялась, а во-вторых, то, что воспринималось самими респондентами как решительный, личный выбор, зачастую маскировало их доступ к ресурсам, прежде всего родителей. Именно готовность родителей «незамедлительно, решительно и с толком» (Holland, Thomson, 2009: 459) направить все ресурсы на защиту своего ребенка в критической ситуации и приводила к благоприятному результату.

Таким образом, для понимания биографических траекторий недостаточно простого признания фактора индивидуального действия. Не всякий выбор может быть биографически значимым. Хитлин и Элдер (2007) отделяют 1) способность к биографическому действию от 2) общей экзистенциальной способности действовать, связанной с возможностью предупреждать прямое и фатальное воздействие среды, а также 3) способности к прагматическому действию, то есть действию в новых обстоятельствах, и 4) способности к «идентификационному действию» (identity agency) — в рутинных ситуациях. В рамках этой типологии то, что отличает способность к биографическому действию, — это умение принимать решения, имеющие долгосрочные последствия, и осознанная вера в собственную способность добиваться жизненных целей. Такое определение биографического действия смыкается с понятием биографической компетенции, или компетенции планирования (Clausen, 1991), т. е. способности выбирать между альтернативными жизненными путями таким образом, чтобы этот выбор отражал личные предпочтения и таланты (Heinz, 2009). Такую компетенцию составляют несколько взаимосвязанных качеств — осознанность, уверенность в собственных силах и надежность,

т. е. способность положиться на себя и добиваться запланированных результатов. Другие исследователи в качестве основных измерений агентства выделяют целеполагание, расчет и планирование, саморегулирование и веру в эффективность собственных действий (Bandura, 2001). Общее в этих определениях состоит в том, что способность к биографическому действию понимается как набор личных качеств и субъективных представлений, которые могут соответствовать, а могут и не соответствовать действительной способности принимать верные долгосрочные решения и придерживаться их для достижения поставленных целей. Однако наличие субъективных представлений помогает человеку не пасовать перед трудностями, в том числе объективного, структурного характера, упорствовать в достижении целей, справляться с возникающими проблемами (Hitlin, Elder, 2007).

Включение субъективного измерения в понятие способности к действию позволяет разграничивать проявление этой способности и, собственно, ее реализацию. Исследуя жизненные траектории учащихся, занятых и безработных молодых людей в Германии и Великобритании, К. Эванс предлагает отдельно рассматривать способность к действию как субъективную категорию, отраженную в интервью респондентов, и сами действия, составляющие объективную трудовую биографию и оцениваемые с помощью анализа документов (например, трудовых книжек, отзывов работодателей) и структурированного опроса, дабы проверить гипотезу индивидуализации, не теряя при этом структурной перспективы. Эванс заключает, что готовность к действию и вера в способность управлять собственной жизнью присущи современной молодежи в целом, невзирая на положение на рынке труда и социальное происхождение. При этом оптимизм, вера в то, что залогом успеха являются собственный труд, знания, квалификации и опыт, сопровождаются высокой степенью понимания структурных ограничений и осознанием того, что личные усилия «не всегда решают все» (Evans, 2002: 259). Тем не менее даже в наиболее уязвимой группе — британской безработной молодежи — исследователь не встречает фатализма, «что говорит скорее о нереализованной, фрустрированной способности к действию, чем об отсутствии необходимых для этого навыков или представлений» (Evans, 2002: 261). Именно в отсутствии фатализма на уровне субъективных представлений заключается индивидуализация, тогда как осуществление этих субъективных представлений нельзя оценивать с точки зрения индивидуализации, потому что здесь невозможно в достаточной мере дистиллировать влияние объективных структурных параметров.

Схожими наблюдениями делятся У. Грааф и К. ван Зендерен (2013), исследовавшие образовательные траектории выходцев из семей мигрантов в Нидерландах в контексте голландской системы среднего профессионального образования. Несмотря на двойную уязвимость — как представителей малообеспеченного рабочего слоя и как этнического меньшинства — респонденты, согласно теории индивидуализации, демонстрируют твердый оптимизм в перспективах восходящей мобильности, уверенность в том, что успех в их руках, и полагаются на собственные планы для достижения лучшего — по сравнению с родителями — социаль-

ного статуса. При этом образовательные траектории респондентов не позволяют говорить о поверхностном, нерелексивном характере их оптимизма или о том, что молодые люди под влиянием наивных масскультовых образов мобильности руководствовались «идеализированными желаниями» вместо «реальных ожиданий» (Попов, Тюменева, Ларина, 2013). Даже в случае негативного образовательного опыта, связанного с «неправильным» выбором специальности, большинство респондентов сохраняли уверенность в собственных силах и амбициозные планы на будущее, бросали непонравившуюся программу обучения и начинали учебу по новой специальности. Авторы интерпретируют такое упорство как пример биографической компетенции, «твердой уверенности в значимости индивидуального действия, веры в личные силы и собственную ответственность» (Graaf, van Zenderen, 2013: 13). Вместе с тем не все респонденты смогли реализовать эту компетенцию, т. е. окончить училище. Однако неудача биографического действия не связана с личными недостатками, она зависит от структурных обстоятельств, среди которых авторы выделяют недостатки системы профессионального образования в целом и проблемы в семье у отдельных респондентов.

Сравнивая биографические ориентации отцов и детей в Великобритании, Л. Пределли и А. Себулла так описывают новую установку на инициативное отношение к жизни как к личному биографическому проекту: «В молодом поколении мы столкнулись с такой самоуверенностью и пробивной способностью, которая редко встречалась в интервью их родителей. Эта пробивная способность была выражена в их представлениях об активном индивидуальном принятии решений, движимым стремлением к восходящей мобильности, осознанием альтернатив и возможностей, желанием реализоваться в карьере и порвать с зависимостью от семьи и семейной традиции» (Predelli, Sebulla, 2011: 36). В российских условиях схожий разрыв в биографических ориентациях поколений описывает Н. Цветаева (2003). Рассматривая ценностные ориентиры пожилых людей (старше 60 лет) и молодежи (до 27 лет), она отмечает прагматизм и цинизм мотиваций молодого поколения, распространение установки на личную эффективность и гибкость при поиске работы.

Вместе с тем преобладание инициативного и прагматичного отношения к биографии затрагивает и старшие возрастные группы, для которых переход к реалиям «общества риска» и осознание необходимости развивать биографическую компетенцию пришлось на период среднего или предпенсионного возраста. Описывая изменения в экономике и обществе как закат «фордистского биографического режима», в котором стабильность и однородность биографий, представленных простой цепочкой переходов от образования к пожизненному трудоустройству и пенсии, обеспечивались многолетним послевоенным экономическим ростом, низкой безработицей, процветанием корпораций и развитием социальных гарантий труда, Р. Менденхолл (2008) находит, что то поколение, которое было воспитано в период расцвета режима в 1960–1970 гг., но стало свидетелем его окончательного краха в 1980–2000-е, вынуждено радикально пересматривать свои биографиче-

ские планы и установки. Представители этого поколения в США, которые столкнулись с увольнением в 40–50 лет, то есть в период личного профессионального расцвета, и потеряли хорошо оплачиваемую работу на сравнительно высоких должностях в крупных корпорациях, испытывают трудности с поиском работы, особенно на аналогичных позициях, и на этом фоне отказываются от традиционной установки на корпоративную лояльность — верность компании в обмен на гарантии стабильной карьеры. То, что приходит на смену этой лояльности, авторы именуют ментальностью «сам себе хозяин» (*free-agent mentality*). Негативный опыт общения с работодателем и кадровыми службами в период увольнения и поиска работы «способствует пониманию, что социальный контракт на рынке труда меняется и что необходимо быть самостоятельным, независимым от работодателя» (Mendenhall et al., 2008: 198). Установка на независимость распространяется не только на тех, кто решил в результате увольнения стать частным предпринимателем, но и на тех, кто продолжил поиски работы по найму. Респонденты признавали несостоятельность своих прежних представлений о «преданности компании» в условиях изменившегося рынка труда и корректировали свои ожидания от трудоустройства, моделируя его как ситуацию «временной аренды» своих услуг работодателю. К аналогичным выводам приходит И. Габриель (2013), основываясь на результатах изучения профессиональных траекторий американских управленцев и специалистов, потерявших работу в зрелости (40–50 лет). Потеря работы в этом возрасте и для этой — благополучной — социальной категории оборачивается серьезным кризисом идентичности, связанным с необходимостью переосмыслить устоявшиеся карьерные представления. Выйти из кризиса смогли те, кто отказался от прежних требований к стабильному и престижному трудоустройству, проявлял «гибкость и находчивость» (Gabriel et al., 2013: 56) в поиске работы, развивал оппортунизм и авантюризм в новых, ограниченных обстоятельствах.

Вместе с тем для тех, кто успел сделать карьеру в фордистскую эпоху, новый индивидуализированный биографический режим скорее сулит возможности, а не риски. И. Джонс (2010) рассматривает опыт выхода на пенсию среди менеджеров среднего и высшего звена в Великобритании, показывая, что для этой категории в условиях современной гибкой британской пенсионной системы пенсия становится предметом добровольного выбора, ассоциируется с новыми возможностями и конструируется как особый образ жизни, а не период старения и «доживания». При этом перемены в биографических ориентациях поколения, связанные с уходом биографического стандарта фордистской эпохи, описываются не как резкий сдвиг, сопровождаемый на индивидуальном уровне кризисом идентичности, но как мягкий процесс постепенного приобщения к новым биографическим установкам, которые проявились в полный рост в момент биографического перехода — от трудоустройства к пенсии. Респонденты, представляющие это поколение, ожидаемо высказывали приверженность ценностям индивидуального выбора и независимости, демонстрировали развитую биографическую компетенцию в том, как

они активно планировали и позитивно рассматривали свой «третий» возраст — пенсию.

Примечательно, как американских безработных и британских пенсионеров роднит вектор перемен в биографических установках и как разделяет восприятие этих перемен. Время, период жизни, на который приходится те или иные исторические перемены, играет решающую роль в том, какое влияние на жизнь они окажут (Elder, 1998; Mendenhall et al., 2008). Вместе с тем имеет значение не только историческое время, но и индивидуальное время, понимаемое в перспективе биографического подхода как принцип, согласно которому каждому возрасту присущи особые задачи человеческого развития (Elder, Giele, 2009). В контексте этого принципа и американские, и британские респонденты, будучи близкими по возрасту, находятся на том этапе зрелой жизни, когда основной задачей является передача своего жизненного опыта младшим поколениям (Mendenhall, 2008; Miller, 1993). В свете этого императива и в схожих исторических условиях респонденты вели себя идентично, несмотря на разницу в индивидуальных обстоятельствах. В обоих случаях корректировался воспитательный посыл детям, респонденты говорили о необходимости заранее объяснять младшему поколению особенности рынка труда в «экономике риска», учить полагаться только на себя в эпоху повсеместной неопределенности. Джонс отмечает, что даже в сравнительно благополучной жизненной перспективе их респондентов преломляются все «конфликты и противоречия второго модерна» (Jones et al., 2010: 114). Высказывая опасения за будущее своих детей, они противопоставляют собственный опыт «стабильной карьеры», «заботливой компании», «традиционных ценностей» (Jones et al., 2010: 113) и те туманные, шаткие перспективы будущего поколения, которые стали следствием подрыва норм пожизненного трудоустройства.

Таким образом, как в социологии молодежи, так и в исследованиях зрелости и старости отмечается распространение ценности индивидуальной автономии и ответственности. Помимо эмпирических выводов исследования личностных факторов в биографии объединяет и то, что они рассматривают способность к действию в однородной выборке. Упомянутые авторы, за исключением Эванс (2002), отдают предпочтение респондентам одного социального статуса и профессионального круга, что позволяет снять вопросы о роли структурных обстоятельств, однако ограничивает возможности концептуализации агентства, которое в этом контексте выглядит как нечто, что обнаруживает себя, только если условия равны. Джонс (2010) справедливо обосновывает это данными предыдущих исследований старения. Авторы сходятся на том, что пенсия остается периодом, в который человек сталкивается с финансовыми трудностями и проблемами здоровья, переживает кризис социальной идентичности, пытаясь согласовать свой опыт независимой зрелости и профессиональной реализации с новым социальным статусом (безработного) пенсионера. По этой причине исследование ограничено респондентами, которые добровольно вышли на пенсию, не испытывая серьезных финансовых или медицинских проблем.

Схожим образом поступает Дж. Котэ (2002), рассматривая образовательные и профессиональные траектории канадских студентов. Он ограничивает свою выборку выходцами из семей среднего класса, поскольку такая выборка позволяет оценить пределы индивидуализации для людей в одинаковых обстоятельствах, увидеть, в какой мере разные стратегии использования одинаковых ресурсов приводят к разным результатам. Так, «мы можем в достаточной степени сдерживать влияние базовых структурных факторов (социального класса), чтобы дать возможность проявиться факторам личностным, если они есть» (Cote, 2002: 119). Однако исследователя в первую очередь интересуют не субъективное восприятие и риторические проявления способности к биографическому действию, а объективные ресурсы и результаты биографического действия. В условиях, когда «институциональные опоры взросления истончаются» (Cote, 2002: 118) и молодые люди сталкиваются с необходимостью (или возможностью) самостоятельно строить свою дорогу жизни, исследователь находит, что от личных ресурсов во многом зависит, выглядит ли перспектива индивидуализации жизненной траектории привлекательной или обременительной и будет ли индивидуализованная траектория успешной или нет. Ключевая роль ресурсов — прежде всего семейного культурного и социального капитала — не раз отмечается в изучении взросления (Coleman, 1988; Portes, 1998; McNeal, 1999; Ядов, 2001; Sandefur et al., 2006; Очкина, 2010; Черныш, 2011), однако Котэ предлагает уточнить и расширить понимание ресурсов и вводит категорию «*капитала идентичности*» для того, чтобы обозначить, как меняется характер ресурсов в условиях индивидуализации (Рис. 1). Главной целью становится активное создание себя, а не путешествие по заданному шаблону от образования к трудоустройству и пенсии. Создание себя означает наращивание капитала идентичности, который складывается из того, какие инвестиции в себя

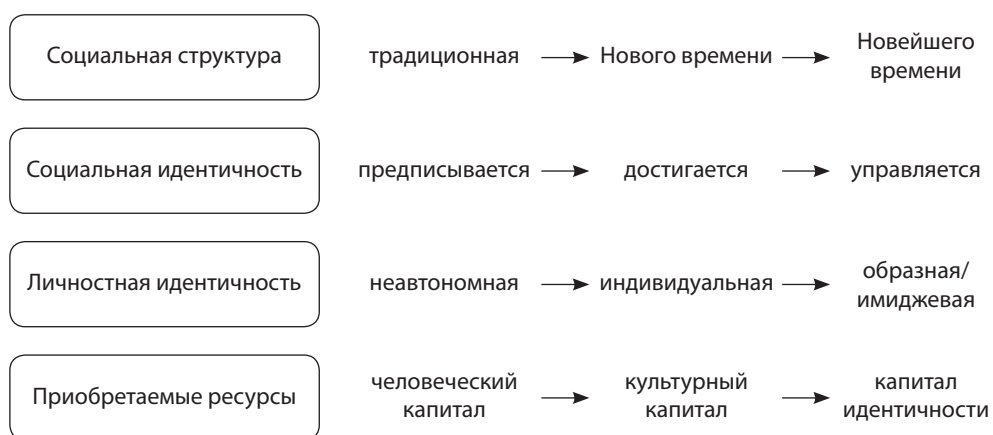


Рис. 1. Типы предпочтительных ресурсов для социальной мобильности в зависимости от социальной структуры (по Дж. Котэ)

делает молодой человек в процессе взросления на основе имеющихся у него (и годовых для обмена) ресурсов. Котэ предлагает разделять ресурсы осязаемые — например, социальное положение родителей, от которого может зависеть, в какой мере они способны финансировать образование ребенка, и неосязаемые, к которым он относит в том числе биографическую компетенцию и, шире, силу личности, мотивации, харизмы. В той мере, в которой именно последние — т. е. личные, а не семейные — ресурсы влияют на успех биографической траектории, индивидуализация оставляет отпечаток на современных биографиях. Наличие обоих типов ресурсов и их роль Котэ предлагает выявить с помощью опроса, а не интервью, разрабатывая собственный индекс личностных способностей, с одной стороны, и индекс биографического успеха — с другой. Использование индексов помогает обеспечить сопоставимость результатов отдельных респондентов.

Как оказалось, личные ресурсы играют значительную роль, поскольку при сопоставимых входных данных (социальное происхождение) и в равных институциональных условиях (учеба в университете как «мораторий на взросление») жизненные траектории молодых людей заметно варьируются. Эти вариации автор предлагает разместить в спектре от «индивидуализации по дефолту» до «развивающей индивидуализации». Первая подразумевает пассивное принятие «полуфабрикатных идентичностей» (Cote, 2002: 119), предлагаемых современным массовым высшим образованием, вторая же обобщает созидательные, стратегические подходы к персональному развитию, ассоциируется с восходящей мобильностью. Индивидуализация по дефолту может вести к замедленному, отложенному взрослению, тогда как развивающая индивидуализация предполагает успешный переход к зрелости, то есть обретение независимости и достижение профессиональных и других приоритетов взрослой жизни (Cote, 2002).

Аналогичные тенденции в траекториях сербской молодежи описывает С. Томанович (2012). Рассматривая две группы молодых людей разного социального происхождения — представителей образованного среднего класса из центра Белграда и выходцев с рабочих окраин сербской столицы, автор выделяет среди респондентов первой группы тех, кто активно использует имеющийся семейный капитал, и тех, кто пассивно принимает родительские возможности и следует написанному родителями сценарию жизни. В свою очередь, во второй, более уязвимой группе есть те, кто пытается преодолеть структурные ограничения за счет личной целеустремленности и активности, и те, кто «катается по волнам», то есть не создает возможности, но ждет благоприятного стечения обстоятельств, чтобы что-то предпринять. Пассивное ожидание волны, отсутствие долгосрочных планов на жизнь и осознанных инвестиций в себя Томанович также ассоциирует с отложенным взрослением и гедонистической ориентацией подросткового толка («главное — развлекаться») (Томановић, 2012: 616).

Метафора волны, «серфинга» вообще оказывается популярной для осмысления современных биографических стратегий. Сравнивая профессиональные ориентации отцов и детей в Великобритании, Пределли и Себулла (2011) выделяют три

подхода к трудоустройству и созданию карьеры: «проектировщики» имеют четкие долгосрочные планы, нацелены на личностный рост и активно создают себя; «перестраховщики» неамбициозны, предпочитают наиболее доступные и безопасные варианты, не пытаясь переделать обстоятельства и ориентируясь скорее на стабильный доход, чем на самореализацию; и, наконец, «серферы» экспериментируют, ищут себя без определенных целей, неразборчиво используют те возможности, которые оказываются перед ними здесь и сейчас. Авторы отмечают, что среди поколения отцов перестраховщики преобладают над проектировщиками, а серферы не встречаются вовсе, тогда как в поколении детей просто невозможно выделить один доминирующий подход. Скорее, большинство сочетают элементы проектирования и серфинга, и «если что-то и характеризует молодое поколение, так это многообразие и неустойчивость, беспочвенность» (в оригинале — «rootlessness») (Predelli, Sebulla, 2011: 36). Авторы подчеркивают, что сохраняется общая профессиональная этика — стремление честно трудиться — укорененная в протестантской морали, однако стратегии поведения в условиях современного рынка труда меняются значительно.

Несистемное экспериментирование, перебирание возможностей без ясной цели характеризует и современные стратегии обучения. Анализируя «учебные биографии» на примере голландской молодежи, И. Дипстратен (Diepstraten et al., 2006) заключает, что, несмотря на возросшее значение высшего образования в экономике знаний и широкий доступ к такому образованию в европейском социальном государстве, наличие диплома больше не гарантирует успеха, а молодые люди все чаще ориентируются на неформальные каналы обучения для того, чтобы обеспечить себе желаемую карьеру. При этом траектории трудоустройства, невзирая на выбор формального или неформального, «уличного» образования и другие обстоятельства, как правило, «дестандартизованы, нелинейны, полны постоянных изменений, обычно не связанных с развитием в определенном направлении, но нацеленных на эксперименты с разными типами работ, а точнее, проектов» (Diepstraten et al., 2006: 184).

Важный аспект блуждания по волнам — ощущение упущенной возможности сделать правильный выбор в правильное время. Такие эмоции описывают пожилые британцы, добровольно или вынужденно вышедшие на пенсию в 2000-е гг., в исследовании С. Викирстафф и Дж. Кокс (2005). Так же как и Джонс (2010), авторы отмечают, что респонденты пытаются конструировать пенсию как личный потребительский выбор и индивидуальный биографический проект, однако в том, что касается финансового обеспечения пенсии, испытывают нехватку контроля над собственной жизнью из-за упущенной возможности вовремя подобрать оптимальный пенсионный план. Пенсия больше не задана стандартом и представляет открытое море, однако из-за нехватки личного планирования пенсионный опыт превращается в дрейф по течению, а не плавание в желанном направлении. Габриель (2013), описывая аналогичный опыт дрейфа среди американских безработных менеджеров и специалистов, вообще предлагает отказаться от понятия

стратегии. «Оппортунизм и маневрирование проявлялись гораздо более ярко, чем то, что в литературе по безработице принято громко называть стратегией. Никто из респондентов не предпринял сколь-нибудь серьезной попытки, чтобы начать новую жизнь ... Их можно охарактеризовать как специалистов по выживанию, демонстрирующих краткосрочное, тактическое, оппортунистическое мышление, а не стратегический подход к поиску работы» (Gabriel et al., 2013: 69). Короткий горизонт планирования роднит американские биографии с российскими: анализируя ценностные ориентиры молодежи начала 2000-х, Цветаева заключает, что неопределенность «эпохи перемен» делает жизнь менее прогнозируемой, вынуждает жить одним днем, «подходить к жизни инструментально, используя подвернувшиеся возможности» (Цветаева, 2003: 4).

Распространение серфинга как типа биографии свидетельствует, что возможности стандартной биографии, основанной на движении по институциональным рельсам, ушли в прошлое, образовав лагуну, которую могут заполнить только те, кто способен использовать личные ресурсы для активной индивидуализации жизни (Evans, Heinz, 1994). Субъектные факторы теснят структурные, однако не автоматически. Дж. Браннен и А. Нильсен (2005) предостерегают от оценки роли личности как первоочередной. То, что принято называть способностью к действию, они осмысляют как *претензию* на способность. В их исследовании траекторий взросления в пяти европейских странах те респонденты, которые формулируют свои жизненные ожидания в категориях личного выбора, с точки зрения авторов, просто игнорируют структурные обстоятельства, позволяющие им выбирать из моря возможностей и откладывать взросление, и в итоге не приводят осмысленных и реалистичных планов на жизнь.

С другой стороны, отрицание роли личностных факторов тоже встречает критику. Ряд исследований демонстрирует, что попытка отказать современной молодежи или отдельным ее категориям в способности к биографическому действию и адаптации к структурным условиям, несостоятельна и высокомерна. П. Мак-Инерни и Дж. Смит (2014), изучая биографические ориентации школьников из беднейших сельских районов Австралии, заключают, что распространенная модель «культуры бедности», которая утверждает отсутствие биографической компетенции, мотивации и целеустремленности у молодежи из бедных семей, ведет к патологизации бедности и ущемляет в правах тех детей, которые, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, ясно формулируют образовательные приоритеты и мотивированы на учебу для социального продвижения. В свою очередь, С. Данкан (2007) удивляется пропасти, которая существует между реальным опытом подростковой беременности и дискурсом, который сложился вокруг этого явления, по крайней мере, в Великобритании. Приводя данные многочисленных эмпирических исследований, он показывает, что подростковая беременность не разрушает жизнь, как принято считать, не означает отсутствия жизненных приоритетов или способности и возможностей их добиваться. Напротив, в долгосрочной перспективе она стимулирует желание учиться и работать, устойчиво

коррелирует с более стабильными и осмысленными жизненными траекториями. Так или иначе, исследования индивидуализации на уровне отдельных биографий указывают, что, с одной стороны, трансформируются биографические установки, распространяются ценности независимости и целеустремленности, а с другой — наличие этих ценностей и, шире, субъективное восприятие собственных способностей создавать биографию не всегда становится объективным ресурсом жизненного успеха, который продолжает зависеть от факторов вне контроля субъекта.

Индивидуализация в контексте социально-экономического неравенства

Исследования, раскрывающие вклад субъектных факторов, показывают, что биографический успех зависит не только от личных свойств, но и от структурных обстоятельств. В перспективе индивидуализации есть место понятию о социальном неравенстве: «очень мало найдется авторов в этой отрасли, которые бы утверждали, что неравенство исчезло» (Evans, 2002: 249). Если рассматривать индивидуализацию как продолжающийся процесс, который не кардинально и резко, но частично и постепенно меняет облик обществ, возникает вопрос о современных *пределах* индивидуализации в контексте сохраняющегося неравенства.

Понять, как соотносится фактор индивидуализации с традиционными видами неравенства — социально-экономическим и гендерным, — позволяют статистические исследования, выявляющие зависимости между биографическими траекториями и релевантными структурными факторами. Отталкиваясь от того, что индивидуализация должна вести к уменьшению влияния классовой принадлежности на жизненную перспективу, У. Колер (2005) изучает, как сказывается социальное происхождение (классовое положение родителей) на биографических траекториях в 28 странах. Он показывает, что влияние социального происхождения слабеет с ростом уровня доходов: чем выше ВВП страны, тем менее выражен фактор классового неравенства. Это подтверждает тезис о том, что предпосылкой индивидуализации является феномен «неравенства богатых», когда уровень доходов наиболее бедных представителей общества настолько высок, что разница между самыми богатыми и самыми бедными не так важна (Бергер, 2008). Вместе с тем Колер не находит подтверждения тому, что в современных обществах размываются статусные общности. Дабы проверить эту гипотезу, он замеряет статусную кристаллизацию, то есть соотношение различных статусных характеристик респондентов (дохода, образования, трудоустройства). Чем менее однородны показатели этих характеристик (например, высокий доход и минимальное образование или низкий доход и высококвалифицированная работа), тем меньше статусная кристаллизация и тем сложнее отнести человека к определенной группе. Колер показывает, что степень статусной кристаллизации, хотя и разная для разных стран, никак не зависит от уровня богатства страны или других значимых факторов. По его мнению, индивидуализация, то есть деструктуризация обществ, происходит

параллельно со структуризацией, то есть воспроизводством традиционных паттернов неравенства.

Такой принцип формирования биографических траекторий, при котором влияние социальных обстоятельств сосуществует с субъектными факторами, называют *структурированной индивидуализацией* (structured individualization) (Roberts, 1995; Engel, Strasser, 1998; Heinz, 1999; Cote, 2002; Evans, 2002) (Рис. 2). Котэ (2002) с помощью этого понятия объясняет результаты исследования среди канадских студентов. Ограничиваясь классово однородной выборкой, он замеряет не номинальную классовую принадлежность, а реальный вклад благоприятного социального положения, который определяется тем, оплачивают родители образование студента или нет. Как оказалось, поддержка родителей только частично может объяснить результаты перехода к взрослой жизни. Наиболее преуспевали мужчины, у которых не было родительской поддержки, и женщины, у которых такая поддержка была. Параллельно долгосрочные результаты сильно зависели от уровня биографической компетенции — мотивации, уверенности, целеустремленности. Котэ заключает, что строгая структурная логика не работает. Если бы речь шла об определяющем влиянии структур, то наибольшие успехи должны были бы демонстрировать мужчины, которые получали родительскую поддержку. В то же время нельзя говорить о безоговорочной победе личностных факторов. Если бы



Рис. 2. Структурированная индивидуализация и ограниченное агентство как компромиссные понятия для описания роли субъектных факторов в институтах и индивидуальной деятельности (по К. Эванс)

дело было только в них, не наблюдалось бы закономерностей — разницы между высоким и низким уровнем поддержки, между мужчинами и женщинами.

Интересные сведения о гендерных пределах индивидуализации дают исследования в США, Германии и Швейцарии. В этих и других западных странах последние десятилетия XX века ознаменовались существенным расширением образовательных и трудовых возможностей для женщин, и перспектива индивидуализации позволяет оценить то, как эти перемены сказались на их биографических траекториях. В контексте индивидуализации Д. Уортс (2013) рассматривает трудовые и семейные биографии американских женщин пяти поколений. Она включает два аспекта индивидуализации: если процесс имеет место, то мы должны увидеть, во-первых, дестандартизацию биографий, то есть большее разнообразие *между* траекториями, а во-вторых, дифференциацию, то есть большее разнообразие жизненных ситуаций *в пределах* одной траектории.

В том, что касается трудоустройства, исследователи находят, что биографии женщин в США стали не менее, а более стандартизованными и однородными. Ушли в прошлое чередования между периодами полной занятости и домохозяйства, в то время как непрерывное полное трудоустройство независимо от семейного положения «закрепилось в качестве нового стандарта» (Worts et al., 2013: 314). Интересно, что исследование в Германии дало противоположные результаты. Сравнивая поколение «беби-бумеров» (1956–1965 годы рождения) с двумя предыдущими поколениями (1936–1945 и 1946–1955), Дж. Симонсон (2011) показывает, что трудовые биографии женщин стали значительно разнообразнее. Распространились «прерывистые» траектории с большим чередованием периодов полной, частичной занятости и незанятости, связанной с семейной жизнью. Вместе с тем гораздо реже стал встречаться некогда доминантный тип замужней неработающей домохозяйки. Разницу в немецких и американских данных можно понять в контексте истории объединения ФРГ и ГДР: дестандартизацию карьеры немецких женщин повлекло крушение двух противоположных стандартов — домохозяйства в Западной Германии и полной занятости в Восточной. Несмотря на то, что для бывшей ГДР непрерывное полное трудоустройство до сих пор более характерно, чем для западной части, объединение страны привело к тому, что два стандарта смешались, меняя картину женских биографий. Те же исторические процессы оказали иное влияние на немецких мужчин: Дж. Симонсон (2015) заключает, что хотя и на западе, и на востоке все сложнее встретить прежний стандарт постоянной полной занятости среди мужчин, выходцы из ГДР более подвержены фрагментации трудоустройства, у них чаще встречаются «нестандартные эпизоды биографии, такие как незанятость и частичная занятость» (Simonson et al., 2015: 387).

На фоне перемен в трудоустройстве женщин их семейные истории — траектории замужества и материнства — и в США, и в Европе стали сложнее и разнообразнее. Как показывает американское исследование, все больше женщин отказываются от традиционных многолетних браков. В средних поколениях выросло число разводов, а в наиболее поздних — больше женщин откладывали замуже-

ство на более поздний возраст. Авторы отмечают, что, поскольку трудовая биография стала более стабильной, а семейная жизнь — менее, можно говорить о том, что стабилизация одного аспекта биографии произошла за счет дестабилизации другого (Worts et al., 2013). В немецком исследовании семейное положение специально не рассматривается, однако приводятся сведения о детях. Они рифмуются с американскими данными, показывая, что в позднем поколении увеличилось число бездетных (Simonson et al., 2011). Швейцарское исследование, в отличие от немецкого, напрямую касается семейных историй и также сходится с американскими наблюдениями в том, что личная жизнь женщин стала более разнообразной и сложной. На данных о нескольких поколениях женщин, рожденных с 1910 по 1957 год, Э. Видмер и Ж. Рицхард (2009) демонстрируют, что по крайней мере до 30 лет супружеские траектории женщин все меньше следуют какому-то определенному стандарту, менее стабильны, меньше связаны с ранним многолетним замужеством. Частично это можно объяснить тем, что женщины стали иначе принимать решение о замужестве. Так, судя по шведско-норвежскому исследованию, женщины в большей степени руководствуются тем, счастливы ли они в отношениях или нет, когда переходят от сожительства к официальному браку, тогда как мужчины больше ориентируются на объективные показатели собственного дохода и образования, а также дохода невесты, чем на субъективное удовлетворение от отношений (Wiik et al., 2010). Как трактуют авторы, эти результаты можно считать частичным подтверждением индивидуализации, поскольку по крайней мере для женщин личное, а не системное определяет биографически значимое решение.

Задаваясь вопросом о том, насколько более сложными и менее похожими стали женские биографии, исследователи также интересуются тем, в какой степени выявленные тенденции находят отражение в жизни представительниц разных социальных слоев. Уортс (2013) замечает, что выгоды и риски, связанные с индивидуализацией, неравномерно распределяются между женщинами из благополучных и уязвимых групп. Стандартизация трудовых биографий произошла из-за того, что наиболее обеспеченные и образованные перешли к полной занятости, в то время как наиболее уязвимые (прежде всего афроамериканки) и раньше не могли себе позволить жизнь домохозяйки. Схожую тенденцию описывает П. Бергер (1993), отмечая, что в ФРГ стабилизация трудоустройства коснулась только женщин с высоким уровнем образования. Дифференциация личной жизни в большей степени затронула представительниц среднего класса за счет того, что их семейные траектории стали более фрагментированными, тогда как в менее благополучных категориях материнство вне брака, разводы и раньше не были аномалией (Worts et al., 2013).

Важный вопрос, который остается за скобками исследований о социальных и гендерных пределах индивидуализации, касается причин формирования этих пределов, то есть факторов возникновения неравенства. Если, несмотря на индивидуализацию, сохраняется неравенство между мужчинами и женщинами, богатыми и бедными, меняется ли как-то механизм воспроизводства неравенства? Ряд

исследователей отмечает, что в этом состоит суть индивидуализации, показывая, что субъектные факторы, даже если считать их первостепенными, нельзя рассматривать в отрыве от социально-экономического неравенства (Plumridge, Thomson, 2003; Heinz, 2009). То, что биографическая компетенция, а не социальное происхождение, определяет жизненную траекторию, не означает, что социальное происхождение не влияет на развитие самой биографической компетенции. Для Гидденса ключом к индивидуализации жизни являются навык и опыт *рефлексивности*, понимаемой как способность к критическому суждению и познанию структурных возможностей и ограничений (Giddens, 2013 (1991)). Логично предположить, что на практике, чтобы развить эту способность, недостаточно личного таланта, а необходимо, например, хорошее образование. В этом смысле рефлексивность становится ресурсом привилегированных (Nollmann, Strasser, 2007; Skeggs, 2005), а практики рефлексивности можно рассматривать как одну из форм реализации и воспроизводства габитуса, то есть социально определенного стиля жизни (Farrugia, 2013a). Предполагается, что выходцы из благополучных семей должны чаще демонстрировать способность к критическому мышлению, планированию и достижению жизненных целей (Atkinson, 2010; Woodman, 2010; Farrugia, 2013b; O'Connor, 2014).

Между тем некоторые эмпирические исследования свидетельствуют о прямо противоположном. Наименее привилегированные способны к гораздо более ясному представлению о своих возможностях и деятельному отношению к биографии, тогда как представители благополучных, имущих семей оказываются слепы к обстоятельствам, пассивно следуют семейной традиции или реализуют социальные ожидания от них (Brannen, Nilsen, 2005; Laughlang-Booy et al., 2014). Браннен и Нильсен (2005), сравнивая планы и чаяния молодых людей разных социальных слоев из пяти европейских стран — Швеции, Норвегии, Великобритании, Ирландии и Португалии, — заключают, что выходцы из рабочих семей в Великобритании и Норвегии наиболее приспособлены к трезвому и серьезному биографическому планированию. Они осознают свои ограничения, с одной стороны, и особенности рынка труда — с другой. В то же время норвежские студенты вузов, пользуясь преимуществами наиболее эгалитарной из всех пяти стран системы образования, не способны осознать собственную привилегию, уверены в своих возможностях, однако не имеют четких планов на жизнь (Brannen, Nilsen, 2005). Ж. Лафлан-Буи (2015) приходит к схожим выводам по результатам интервью с 16–17-летними подростками из Австралии. Привилегированное положение родителей отводит многие риски и проблемы взросления, стимулируя тем самым не критичное отношение к жизни у подростков. Рефлексивность демонстрируют те, кто, напротив, не может похвастаться благополучными социальными условиями.

Впрочем, такие данные не должны автоматически вселять оптимизм в отношении перспектив современных молодых людей из уязвимых категорий. Исследуя траектории взросления двух поколений британских подростков (1958 и 1970 годов рождения), И. Шун (2007) заключает, что выходцы из низших слоев с ярко выра-

женной способностью к рефлексивности все равно чаще переживали безработицу и их социальный статус был ниже, чем у привилегированных сверстников.

Таким образом, исследования индивидуализации на уровне биографий поколений и с учетом социально-экономического неравенства, которое характеризует относительное положение отдельных представителей любого поколения, только с оговорками дают основание считать, что индивидуализация представляет собой расширение возможностей для наиболее способных и достойных. У тех, кто сталкивается с большими структурными препятствиями, есть шанс преуспеть, однако для этого от них требуются лучшие навыки биографического планирования, чем от тех, кто находится в более выигрышном положении (Heinz, 2009; Woodman, 2010). В связи с этим возникает сомнение в том, можно ли считать индивидуализацию новым явлением, уникальным для нашего времени (Duncan, 2011).

Индивидуализация как принцип современных институтов

Вопрос о старом и новом в биографических траекториях звучит иначе, если к субъектным факторам и фактору социального неравенства добавить еще один структурный пласт — «институтов, экономических циклов и рынков» (Beck, 1992: 131). Одно из положений теории индивидуализации состоит в том, что этот пласт, определяемый Беком как *вторичные институты*, замещает традиционные социальные узы — класса и нуклеарной семьи, создавая одновременно новые возможности, то есть условия для индивидуализации, и новые рамки — «люки» (trapdoors), которые эти возможности могут ограничить (Beck, 2000). К основным вторичным институтам следует отнести рынок труда и социальное государство как систему регулирования этого рынка, включающую образование и социальное страхование (Predelli, Cebulla, 2011). Только в современном виде, который определяется сочетанием подвижного, фрагментированного рынка и развитого социального государства, дающего широкие возможности для образования и страхования, эти институты обеспечивают эмансипаторную функцию, делая индивидуализацию качественно новым явлением.

В контексте биографического подхода определение вторичных институтов соприкасается с понятием «*режимы перехода*» (transition regimes) как совокупности специфических структурных, культурных и институциональных контекстов разных социальных государств, в рамках которых совершаются биографические переходы (Graaf, van Zenderen, 2013). Вне этих контекстов биографические траектории теряют свою изначальную логику. Для реализации биографической компетенции нужен рынок труда, который задает параметры и варианты выбора (Heinz, 2009). Сравнивая стратегии отцов и детей на британском рынке труда, Пределли и Себулла (2011) отмечают, что без понимания того, как изменился сам рынок, изменения в стратегиях можно было бы рискнуть трактовать как провал межпоколенческой трансмиссии, то есть передачи жизненного опыта. Наблюдая преемственность в отношении этики труда и разницу в прагматических ориентациях,

раскрывающих взгляды респондентов на то, как делать карьеру и искать работу, исследователи заключают, что трансмиссия состоялась, однако в таком виде, который отражает новые реалии современной экономики и рынка труда Великобритании (Predelli, Sebulla, 2011). Сравнивая молодежь Великобритании и Германии, К. Эванс и У. Хайнс (1994) также различают несколько типов переходных стратегий (transition actions) и соотносят их с итоговыми траекториями трудоустройства в двух странах, показывая, что разные типы стратегий не являлись отражением личных качеств респондентов, а скорее «приводились в действие разными контекстами возможностей» (Heinz, 2009: 398). Осознанное, стратегическое планирование карьеры и постоянно прогрессирующий профессиональный рост ассоциировались со стабильным состоянием рынка, предлагающим ясные карьерные альтернативы, тогда как стратегия «подождать и посмотреть» и связанный с ней стагнирующий карьерный рост отвечали менее благоприятным обстоятельствам, «навязывающим короткий горизонт планирования» (Heinz, 2009: 398).

Следующим элементом режима биографических переходов является система образования. На фоне нестабильного рынка труда и в отсутствие системы поддержки перехода от учебы к трудоустройству именно система образования, а не разница в индивидуальной биографической компетенции, может быть действительной причиной распространения биографического серфинга. На материале многолетнего исследования студентов в Миннесоте Дж. Мортимер (2003) показывает, что колледж, высшее образование оказывается востребованным в Америке во многом потому, что у молодых людей нет других привлекательных возможностей выйти на рынок труда. Это делает колледж безальтернативным, и студенты не видят ясной связи между образованием и трудоустройством. Современные российские школьники демонстрируют такое же отношение к высшему образованию. Рассматривая особенности выбора места учебы и профессиональные планы абитуриентов Екатеринбурга и Свердловской области, И. Тесленко (2013) отмечает, что подавляющее большинство респондентов главной целью ставят поступление в вуз, а не получение желаемой специальности, причем основным критерием выбора учебного заведения является его «престиж». Университет позволяет отложить выбор трудоустройства, а не определяет его, однако однажды выбор все-таки приходится делать, и здесь попавших в систему высшего образования ждет разочарование. Многие американские школьники, поступив в университет, в итоге бросают учебу (Mortimer, 2003).

В современных системах среднего профессионального образования в других странах наблюдаются схожие проблемы. Грааф и ван Зендерен (2013) отмечают, что нидерландская система, целиком возлагая выбор и ответственность за него на плечи подростка, не дает подстраховки в случае неудачного выбора. Тем самым игнорируются системный характер таких неудач и возможность содействовать ученикам с фрагментированной образовательной траекторией, бросившим учебу, чтобы начать снова по новой специальности. Располагая интервью с учениками 10–12-х классов, М. Виейра (2013) видит схожие недостатки в португальской систе-

ме образования. Необходимость самостоятельного выбора профессии в старшем школьном возрасте скорее множит риски и неопределенность, чем создает условия для биографической компетенции.

Процесс выбора в такой системе образования можно сравнить с «вынужденной покупкой» (*distressed purchase*) (Vickerstaff, Cox, 2005). Это понятие из области маркетинга описывает ситуацию, когда потребитель сталкивается с необходимостью совершить покупку вопреки импульсу избежать ее. Метафора вынужденной покупки используется и для описания современных систем пенсионного обеспечения. Представляя еще один элемент режима биографических переходов, пенсионная система также структурирует биографический выбор. Исследования реформированных пенсионных систем в Великобритании (Vickerstaff, Cox, 2005) и Финляндии (Gould, 2006), где были отменены коллективные гарантии и сделана ставка на индивидуальный выбор схемы финансирования и возраста выхода на пенсию, показывают, что в таких системах риски и возможности распределяются неравномерно между разными социальными группами, благоприятствуя тем, у кого больше стартовые ресурсы (лучше состояние здоровья, выше зарплата), и лишая базовых гарантий тех, у кого таких ресурсов и возможности выбора нет. Отсутствие коллективных гарантий под видом поощрения индивидуального выбора задает характер и современных профессиональных траекторий женщин, совмещающих карьеру с семейными обязанностями. Дж. Вестстар (2012), изучая опыт выхода в декрет среди работниц канадских вузов, сетует на то, что в отсутствие коллективных норм и поддержки профсоюзов многие женщины были вынуждены самостоятельно договариваться об условиях своего отпуска по уходу за ребенком и не реализовали своего права получить полноценный отпуск, соглашаясь на невыгодные условия и переработку в период, предшествующий декрету. В скандинавских странах индивидуализация трудоустройства, понимаемая как переход от оценки времени, затраченного на работу, к оценке результатов работы безотносительно потраченного времени, усложнила балансирование карьеры и семейной жизни, причем как для женщин, так и для мужчин (Kvande, Rasmussen, 2008).

Индивидуализованная социальная политика в области образования, поддержки семьи и пенсионного обеспечения скорее служит воспроизводству традиционного неравенства, чем его преодолению, позволяя сделать выбор тем, кто его в состоянии делать, и увеличивая риски для тех, у кого выбора нет. Впрочем, отход от индивидуализованной социальной политики не является универсальным рецептом. Подвижный, рискованный характер современной глобализованной экономики в большей степени определяет состояние рынка труда, чем его государственное регулирование. Изучая опыт образования и первичного трудоустройства молодежи в Новой Зеландии, К. Воган (2010) отмечает, что в условиях современного рынка труда все больше молодых людей совмещают учебу и работу и получают знания, повышающие их трудоспособность, вне стен учебных заведений. Это поднимает вопрос о реформе образования в направлении либерализации образова-

тельных форм и увеличения возможностей получать образование вне учебных заведений, в том числе в рамках концепции непрерывного образования (lifelong learning) (Vaughan, 2010). Эти выводы согласуются с предложениями, сформулированными по итогам исследования образовательных траекторий молодежи в Нидерландах: более гибкие формы образования с прицелом на учебу в течение жизни отвечают обстоятельствам современной экономики с ее потребностями в более квалифицированных кадрах и дестандартизацией труда (Diepstraten et al., 2006).

Так или иначе, независимо от того, как формулируются потребности современной экономики и задачи социальной политики, феномен индивидуализации придает политический характер биографическим исследованиям. От того, как понимаются истории жизни людей, зависит то, «на кого мы возложим бремя социальной справедливости» (Holland, Thomson, 2009: 453). Эмпирические исследования индивидуализации демонстрируют сложность современного понимания биографий как результата переплетения личностных и структурных факторов разного уровня, где мера влияния каждого отдельного фактора может определять характер траекторий (Рис. 3).

С одной стороны, на микроуровне можно говорить об индивидуализации как о развитии *биографической компетенции*, установке на самостоятельность и независимость, приоритете личного выбора и ответственности за него. Биографическая компетенция становится самостоятельным ресурсом для достижения жизненных целей. На макроуровне использование этого ресурса находит отражение в *дестандартизации* и *дифференциации* трудовых и семейных биографий. Дестандартизация предполагает увеличение разнообразия между жизненными траекториями, тогда как дифференциация — разнообразия жизненных этапов и ситуаций в пределах одной траектории. С другой стороны, мера биографической компетенции и возможности реализовать ее зависят от социальных условий, риски индиви-

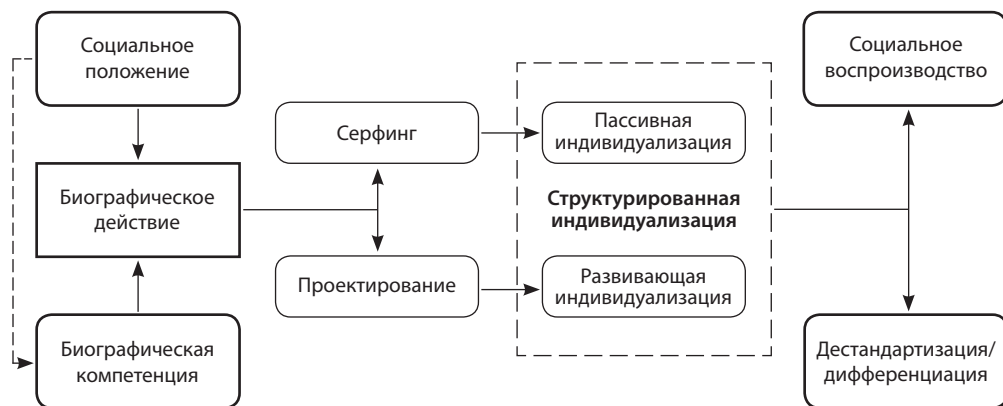


Рис. 3. Личностные и структурные факторы в индивидуализации

дуализации между разными категориями населения распределяются неравномерно. Благоприятное социальное происхождение может способствовать *активной или развивающей индивидуализации*, связанной с осознанным и инициативным использованием возможностей эпохи для личностного роста и социального успеха. В свою очередь, для уязвимых групп существует опасность *пассивной индивидуализации по дефолту*, обрекающей на бесцельный дрейф, биографический серфинг в отсутствие необходимых ресурсов для активного создания собственного биографического проекта. Поскольку системные социальные обстоятельства продолжают играть существенную роль в современных биографиях, выдвигается понятие *структурированной индивидуализации*, описывающее биографическую модель как сплав системных и субъектных факторов. Другими словами, механизмы индивидуализации могут одновременно являться механизмами воспроизводства неравенства. Это справедливо, если поместить процесс реализации биографической компетенции в контекст институтов рынка и социального государства, которые сегодня являются источником возможностей для тех, кто обладает биографической компетенцией и другими ресурсами, и рисков для тех, кому ресурсов не хватает.

Заключение

Исследования процессов индивидуализации в траекториях мобильности быстро развиваются. Если еще в 2012 г. М. Доусон, систематизируя многочисленную критику теории индивидуализации, отмечал нехватку количественных исследований, то уже в 2013–2015 гг. такие работы появились (Worts et al.; Simonson et al., 2015). В них индивидуализация рассматривается в контексте структур социального неравенства, приводятся сведения о дестандартизации и дифференциации биографий, однако на фоне сохраняющегося неравенства возможностей. Помимо пределов индивидуализации в условиях социально-экономического неравенства исследования индивидуализации концентрируются еще на двух основных аспектах. На уровне индивидуальных биографий изучаются субъектные факторы — компетенции и ресурсы, ставится вопрос о том, насколько они определяют жизненную траекторию. В свою очередь, институциональное направление исследований затрагивает уровень контекстуальных, историко-специфических структур — рынков труда и институтов социального государства, рассматривая, как эти структуры влияют на траектории мобильности. Эмпирические исследования показывают, что современные рынки и социальная политика выступают основными источниками индивидуализации, по-новому переплетая личностные и структурные факторы в мобильности. Справедливой представляется критика индивидуализации как удобного политического дискурса, оправдывающего такое устройство институтов в области образования, трудоустройства и здравоохранения, которое позволяет перекачивать всю ответственность за «правильный» выбор на индивида. Этот дискурс навязывает опыт более благополучных категорий населения с доста-

точным культурным, социальным, человеческим капиталом менее защищенным группам, у которых такого капитала нет. Изучение индивидуализации в контексте национальных систем образования и социального обеспечения помогает выявить эти проблемы, понять, как соотносятся субъектные и структурные факторы в биографиях для создания более совершенных, справедливых институтов.

Зарубежные и российские исследования сходятся в социальной критике индивидуализации как негативного явления в условиях сохраняющегося неравенства. Особенностью и важной тенденцией в зарубежной критике является то, что индивидуализация не рассматривается как некое общекультурное, всепроникающее явление или органическая черта капитализма. В недавней колонке в «Нью-Йорк таймс» С. Кварц и А. Эсп (2015) подчеркивают, что индивидуализация стиля и траекторий жизни — новое явление, которое лежит в основе сегодняшнего безразличия американского общества к последствиям экономического неравенства, несмотря на то, что оно находится на том же высоком уровне, что и в конце XIX века, когда проблема неравенства послужила толчком к серьезным и нужным социальным реформам. Эмпирические исследования необходимы, чтобы установить конкретные, актуальные причины и последствия индивидуализации, конкретные социально-политические институты, формирующие индивидуализационные риски, и сформулировать конкретные предложения для реформирования этих институтов. Речь идет не только об институтах, формирующих контекст взросления, но и об институциональном оформлении зрелости и старости.

Для российского общества проблема институтов индивидуализации актуальна в контексте продолжающейся реформы здравоохранения, дискуссии о пенсионной реформе. Индивидуализация не является следствием рыночной экономики как таковой, и обстоятельства феномена на Западе во многом похожи на реалии постсоветских преобразований. В 1980–1990 гг. неолиберальные реформы в Великобритании, закат кейнсианской модели развития экономики в США, объединение Германии, а также — шире — глобализация капитализма, распространение транснационального бизнеса и труда привели к повсеместному демонтажу прежнего биографического режима. Российское общество можно считать одним из свидетелей этих новых процессов. Международные сравнительные исследования могут быть одним из перспективных направлений изучения индивидуализации.

Литература

- Бергер П.* (2008). Индивидуализация и изменение значения социальных неравенств: недопонимание и предложения по его устранению // Социальное неравенство: изменения в социальной структуре. Европейская перспектива. М.: Алетейя. С. 12–24.
- Берто Д.* (1997). Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии: биографический метод в изучении постсоциалистических обществ / Пер. с франц. Е. Здравомысловой // Биографический метод в изучении пост-

- социалистических обществ: Материалы международного семинара (Санкт-Петербург, 14–17 ноября 1996) / Под ред. В. Воронкова, Е. Здравомысловой. СПб.: ЦНСИ, 1997. С. 14–23.
- Голенкова З. Т. (2014). Социальное неравенство и дифференциация // *Голенкова З. Т. Избранные труды*. М.: Новый хронограф. С. 219–224.
- Константиновский Д. Л. (2003). Самоопределение или адаптация? // *Мир России*. Т. 12. № 2. С. 123–143.
- Очкина А. В. (2010). Культурный капитал семьи как фактор социального поведения и социальной мобильности: на материалах исследования в провинциальном российском городе // *Мир России*. Т. 19. № 1. С. 67–88.
- Попов Д. С., Тюменева Ю. А., Ларина Г. С. (2013). Жизнь после 9-го класса: как личные достижения учащихся и ресурсы их семей влияют на жизненные траектории // *Вопросы образования*. № 3. С. 310–334.
- Рогозин Д. М. (2015). Как работает автоэтнография? // *Социологическое обозрение*. Т. 14. № 1. С. 224–273.
- Тесленко И. В. (2013). Портрет абитуриента 2013 года (выпускника школы поступающего в учреждения СПО и ВПО): результаты исследования // *Современные проблемы науки и образования*. № 4. С. 1–8.
- Толстокорова А. (2013). Транснациональная и гендерная парадигмы в изучении международной мобильности: на примере Украины // *Социологическое обозрение*. Т. 12. №2. С. 98–121.
- Цветаева Н. (2003). Мотивация достижения в «эпоху перемен» // *Телескоп*. № 6. С. 1–7.
- Черныш М. Ф. (2011). Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность // *Социологические исследования*. № 8. С. 42–53.
- Шкаратан О. И. (2011). Ожидания и реальность: социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // *Общественные науки и современность*. № 1. С. 5–24.
- Ядов В. А. (2001). Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения универсальной методологии исследования реального расчленения в российском обществе // *Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса* / Под ред. Т. И. Заславской. М.: МВШСЭН. С. 310–319.
- Atkinson W. (2007). Beck, Individualization and the Death of Class: A Critique // *British Journal of Sociology*. Vol. 58. № 3. P. 349–366.
- Atkinson W. (2010). Class, Individualisation and Perceived (Dis)advantages: Not Either/Or but Both/And? // *Sociological Research Online*. Vol. 15. № 4. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/15/4/7.html> (accessed 21 October 2014).
- Bandura A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective // *Annual Review of Psychology*. № 52. P. 1–26.
- Bartley M. (2007). *Health Inequality: An Introduction to Theories, Concepts and Methods*. Cambridge: Polity Press.

- Bauman Z.* (2007). *Liquid Times*. Cambridge: Polity Press.
- Bauman Z.* (2013). *Liquid Modernity*. New York: John Wiley and Sons.
- Beck U.* (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Thousand Oaks: Sage.
- Beck U.* (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in The Modern Social Order*. Redwood City: Stanford University Press.
- Beck U.* (2000). *The Brave New World of Work*. Cambridge: Polity.
- Beck U.* (2007). *Beyond Class and Nation: Reframing Social Inequalities in a Globalizing World* // *The British Journal of Sociology*. Vol. 58. № 4. P. 679–705.
- Beck U., Beck-Gernsheim E.* (2002). *Individualization: Institutionalized Individualization and its Social and Political Consequences*. London: Sage.
- Beck U., Lau C.* (2005). *Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the “Meta-change” of Modern Society* // *British Journal of Sociology*. Vol. 56. № 4. P. 525–557.
- Bendix R., Lipset S. M.* (1966). *Class, Status, and Power: Social Stratification in Comparative Perspective*. New York: Free Press.
- Berger P. A.* (1996). *Individualisierung: Statusunsicherheit und Erfahrungsvielfalt*. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Berger P. A., Steinmüller P., Sopp P.* (1993). *Differentiation of Life-Courses? Changing Patterns of Labour-Market Sequences in West Germany* // *European Sociological Review*. Vol. 9. № 1. P. 43–65.
- Berger P. L., Berger B., Kellner H.* (1973). *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*. London: Vintage.
- Bertaux D.* (Ed.). (1981). *Biography and Society: The Life History Approach in The Social Sciences*. London: Sage.
- Bertaux D., Kohli M.* (1984). *The Life Story Approach: A Continental View* // *Annual Review of Sociology*. Vol. 10. P. 215–237.
- Bertaux D., Thompson P. R.* (Ed.). (2006). *Pathways to Social Class: A Qualitative Approach to Social Mobility*. Piscataway: Transaction Publishers.
- Bhambra G.K.* (2007). *Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bhat M.* (2013). *Revisiting the Youth Corridor: From Classical through Post-modern to Late-modern Sociology* // *International Review of Sociology*. Vol. 23. № 1. P. 200–220.
- Blau P. M., Duncan O. D.* (1967). *The American Occupational Structure*. New York: John Wiley and Sons.
- Boote D. N., Beile P.* (2005). *Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation* // *Educational researcher*. Vol. 34. № 6. P. 3–15.
- Bouchard B., Zhao J.* (2000). *University Education: Recent Trends in Participation, Accessibility and Returns* // *Education Quarterly Review*. № 6. P. 24–31.
- Bourdieu P.* (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.

- Bourdieu P., Passeron J.-C.* (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Thousand Oaks: Sage.
- Brannen J., Nilsen A.* (2005). Individualisation, Choice and Structure: A Discussion of Current Trends in Sociological Analysis // *Sociological Review*. Vol. 53. № 3. P. 412–428.
- Breen R.* (2004). *Social Mobility in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Breen R., Rottman D.B.* (2014). *Class Stratification: Comparative Perspectives*. London: Routledge.
- Brown P., Power S., Thollen G., Allouch A.* (2014). Credentials, Talent and Cultural Capital: A Comparative Study of Educational Elites in England and France // *British Journal of Sociology of Education*. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01425692.2014.920247> (accessed 12 December 2014).
- Budros A.* (1997). The New Capitalism and Organizational Rationality: The Adoption of Downsizing Programs, 1979–1994 // *Social Forces*. Vol. 76. № 1. P. 229–250.
- Carocci S.* (2011). Social Mobility and the Middle Ages // *Continuity and Change*. Vol. 26. № 3. P. 367–404.
- Cerulo K. A.* (1997). Identity Construction: New Issues, New Directions // *Annual Review of Sociology*. Vol. 23. P. 385–409.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H.* (2004). Is There a Status Order in Contemporary British Society? Evidence from the Occupational Structure of Friendship // *European Sociological Review*. Vol. 20. № 5. P. 383–401.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H.* (2007). Social Status and Newspaper Readership // *American Journal of Sociology*. Vol. 112. № 4. P. 1095–1134.
- Chetty R., Hendren N., Klein P., Saez E.* (2013). *The Equality of Opportunity Project*. Harvard University.
- Clausen J. S.* (1991). Adolescent Competence and the Shaping of the Life Course // *American Journal of Sociology*. Vol. 96. № 4. P. 805–842.
- Coleman J.* (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital // *American Journal of Sociology*. Vol. 94. Supplement. P. 95–120.
- Côté, J.E.* (2002). The Role of Identity Capital in the Transition to Adulthood: The Individualization Thesis Examined // *Journal of Youth Studies*. Vol. 5. № 2. P. 117–134.
- Davis K., Moore W. E.* (1945). Some Principles of Stratification // *American Sociological Review*. Vol. 10. № 5. P. 242–249.
- Dawson M.* (2012). Reviewing the Critique of Individualization: The Disembedded and Embedded Theses // *Acta Sociologica*. Vol. 55. № 4. P. 305–319.
- Dhunpath R.* (2000). Life History Methodology: «Narradigm» Regained // *International Journal of Qualitative Studies in Education*. Vol. 13. № 5. P. 543–551.
- Diepstraten I., Du Bois-Reymond M., Vinken H.* (2006). Trendsetting Learning Biographies: Concepts of Navigating through Late-modern Life and Learning // *Journal of Youth Studies*. Vol. 9. № 2. P. 175–193.
- Duncan O. D.* (1961). A Socioeconomic Index for All Occupations // *Reiss A. J., Jr. Occupations and Social Status*. New York: Free Press. P. 109–138.

- Duncan S.* (2007). What's the Problem with Teenage Parents? And What's the Problem with Policy? // *Critical Social Policy*. Vol. 27. № 3. P. 307–334.
- Duncan S.* (2011). The World We Have Made? Individualisation and Personal Life in the 1950s // *Sociological Review*. Vol. 59. № 2. P. 242–265.
- Elder G. H., Jr., Giele J. Z.* (2009). *The Craft of Life Course Research*. New York: Guilford Press.
- Elder G. H.* (1998). The Life Course as Developmental Theory // *Child Development*. Vol. 69. № 1. P. 1–12.
- Elliott J.* (2005). *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.
- Engel U., Strasser H.* (1995). Global Risks and Social Inequality: Critical Remarks on the Risk Society Hypothesis // *Canadian Journal of Sociology*. Vol. 23. № 1. P. 91–103.
- Erikson R., Goldthorpe J. H.* (1992). *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Erikson R., Goldthorpe J. H., Hällsten M.* (2012). No Way Back Up from Ratcheting Down? A Critique of the «Microclass» Approach to the Analysis of Social Mobility // *Acta Sociologica*. Vol. 55. № 3. P. 211–229.
- Evans G.* (1999). *The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context*. Oxford: Oxford University Press.
- Evans K.* (2002). Taking Control of their Lives? Agency in Young Adult Transitions in England and the New Germany // *Journal of Youth Studies* Vol. 5. № 3. P. 245–269.
- Evans K., Heinz W. R.* (1994). *Becoming Adults in England and Germany*. London: Anglo-German Foundation.
- Farrugia D.* (2013). Addressing the Problem of Reflexivity in Theories of Reflexive Modernisation: Subjectivity and Structural Complexity // *Journal of Sociology*. Available at: <http://jos.sagepub.com/content/early/2013/02/28/1440783313480396> (accessed 24/12/2014).
- Farrugia D.* (2013). Young People and Structural Inequality: Beyond the Middle Ground // *Journal of Youth Studies*. Vol. 16. № 5. P. 679–693.
- Foroohar R.* (2011). What Ever Happened to Upward Mobility? // *Time Magazine*. Vol. 34(3). November 14.
- Furlong A., Cartmel F.* (2006). *Young People and Social Change*. Maidenhead: Open University Press.
- Gabriel Y., Gray D.E., Goregaokar H.* (2013). Job Loss and Its Aftermath among Managers and Professionals: Wounded, Fragmented and Flexible // *Work, Employment & Society*. Vol. 27. № 1. P. 56–72.
- Giddens A.* (1994). Living in a Post-traditional Society // *Beck U., Giddens A., Lash S.* *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press. P. 56–109.
- Giddens A.* (2002). *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.

- Giddens A.* (2013). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in The Late Modern Age*. New York: John Wiley and Sons.
- Glazer-Raymo J.* (2001). *Shattering the Myths: Women in Academe*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Goldthorpe J. H., Hope K.* (1974). *The Social Grading of Occupations: A New Approach and Scale*. Oxford: Clarendon Press.
- Gonski D.* (2012). *Review of Funding for Schooling Final Report*. Canberra, ACT: Department of Education, Employment, and Workplace Relations
- Gould R.* (2006). Choice or Chance — Late Retirement in Finland // *Social Policy and Society*. Vol. 5. № 4. P. 519–531.
- Graaf W., Zenderen K. van* (2013). School-Work Transition: The Interplay between Institutional and Individual Processes // *Journal of Education and Work*. Vol. 26. № 2. P. 121–142.
- Gross N., Fosse E.* (2012). Why Are Professors Liberal? // *Theory and Society*. Vol. 41. № 2. P. 127–168.
- Grusky D. B., Sørensen J. B.* (1998). Can Class Analysis Be Salvaged? // *American Journal of Sociology*. Vol. 103. № 5. P. 1187–1234.
- Gudmundsson G.* (2000). Whatever Became of Society? Keynote Lecture at NYRIS 2000, Helsinki.
- Hart C.* (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage.
- Heelas P., Lash S., Morris P.* (1996). *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*. Cambridge: Blackwell.
- Heinz W.R.* (1999). *From Education to Work: Cross-National Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heinz W. R., Kruger H.* (2001). Life Course: Innovations and Challenges for Social Research // *Current Sociology*. Vol. 49. № 2. P. 29–45.
- Hitlin S., Elder G.* (2007). Time, Self, and the Curiously Abstract Concept of Agency // *Sociological Theory*. Vol. 25. № 2. P. 170–191.
- Hodge R. W., Treiman D. J., Rossi P. H.* (1966). A Comparative Study of Occupational Prestige // *Class, Status, and Power: Social Stratification in Comparative Perspective / Ed. by R. Bendix, S. M. Lipset*. New York: Free Press. P. 309–321.
- Holland J., Thomson R.* (2009). Gaining Perspective on Choice and Fate: Revisiting Critical Moments // *European Societies*. Vol. 11. № 3. P. 451–469.
- Irwin S.* (1995). *Rights of Passage: Social Change and the Transition from Youth Adulthood*. London: UCL Press.
- Jamieson L.* (2012). Intimacy as a Concept: Explaining Social Change in the Context of Globalisation or Another Form of Ethnocentrism? // *Sociological Research Online*. Vol. 16. № 4. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/16/4/15.html> (accessed 10 November 2014).

- Jones I.R., Leontowitsch M., Higgs P.* (2010). The Experience of Retirement in Second Modernity: Generational Habitus among Retired Senior Managers // *Sociology*. Vol. 44. № 1. P. 103–120.
- Kohler U.* (2005). Statusinkonsistenz und Entstrukturierung von Lebenslagen // *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Vol. 57. № 2. P. 230–253.
- Kohn M.* (1989). *Class and Conformity: A Study in Values*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kumar K.* (1995). *From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World*. Oxford: Blackwell.
- Kohn M.* (1989). Social Structure and Personality: A Quintessentially Sociological Approach to Social Psychology // *Social Forces*. Vol. 68. № 1. P. 26–33.
- Krugman P.* (2007). *The Conscience of a Liberal*. New York: W. W. Norton & Co.
- Kvande E., Rasmussen B.* (2008). *Arbeidslivets klemmer: paradokser i det nye arbeidslivet*. Oslo: Fagbokforlaget.
- Laidley T.* (2013). Climate, Class, and Culture: Political Issues as Cultural Signifiers in the US // *Sociological Review*. Vol. 61. № 1. P. 153–171.
- Laughland-Booÿ J., Mayall M., Skrbiš Z.* (2015). Whose Choice? Young People, Career Choices and Reflexivity Re-examined // *Current Sociology*. Vol. 63. № 4. P. 586–603.
- Laumann E.O.* (1966). *Prestige and Association in an Urban Community: An Analysis of an Urban Stratification System*. Indianapolis and New York: Bobbs–Merrill.
- Lazzarato M.* (2009). Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution of the Social // *Theory, Culture & Society*. Vol. 26. № 6. P. 109–133.
- Lewis D.* (2008). Using Life Histories in Social Policy Research: The Case of Third Sector/Public Sector Boundary Crossing // *Journal of Social Policy*. Vol. 37. № 4. P. 559–578.
- Lipset S.M.* (1979). *The first New Nation: The United States in Comparative and Historical Perspective*. New York: Norton and Company.
- Lukes S.* (1973). *Individualism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Lyon D.* (1999). *Postmodernity*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Marshall V.W.* (2001). Older Workers and Socioeconomic Transformation. Keynote address at the Regional Conference of The Gerontological Society of Singapore, January 12, 2001.
- Marshall V. W.* (2000). Agency, Structure, and the Life Course in the Era of Reflexive Modernization. Presented in a symposium on «The Life Course in the 21st Century», American Sociological Association Meeting, Washington DC, August 2000.
- Marx K.* (1992). *Capital*. Vol. 1: A Critique of Political Economy. London: Penguin Classics.
- Mayer K. U.* (2004). Whose Lives? How History, Societies, and Institutions Define and Shape Lifecourses // *Research in Human Development* Vol. 3. № 3. P. 161–87.
- McInerney P., Smyth J.* (2014): «I want to get a piece of paper that says I can do stuff»: Youth Narratives of Educational Opportunities and Constraints in Low Socio-Economic Neighbourhoods // *Ethnography and Education*. Vol. 9. № 3. P. 239–252.

- McMahan E. M., Rogers K. L.* (2013). *Interactive Oral History Interviewing*. London: Routledge.
- McNeal R. B.* (1999). Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on Science Achievement, Truancy, and Dropping Out // *Social Forces*. Vol. 78. № 1. P. 117–144.
- Mendenhall R., Kalil A., Spindel L. J., Hart C. M. D.* (2008). Job Loss at Mid-life: Managers and Executives Face the «New Risk Economy» // *Social Forces*. Vol. 87. № 1. P. 185–209.
- Middleton S.* (1993). *Educating Feminists: Life Histories and Pedagogy*. New York: Teachers College Press.
- Miller P.H.* (1993). *Theories of Developmental Psychology*. San Francisco: W. H. Freeman and Company.
- Mishel L., Bernstein J., Allegretto S.* (2005). *The State of Working America, 2004–2005*. Ithaca: Cornell University Press.
- Morgan S., Grusky D., Fields G.* (2011). *Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics*. Stanford: Stanford University Press.
- Mortimer J. T.* (2003). *Working and Growing up in America*. Cambridge: Harvard University Press.
- Müller R., Plieninger J., Rapp C.* (2013). *Recherche 2.0*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Newman K.* (1999 [1988]). *Falling from Grace: The Experience of Downward Mobility in the American Middle Class*. Oakland: University of California Press.
- Nollmann G., Strasser H.* (2007). Individualization as an Interpretive Scheme of Inequality: Why Class and Inequality Persists // *Contested Individualization: Debates about Contemporary Personhood* / Ed. by H. Cosmo. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 89–97.
- O'Connor C. D.* (2014). Agency and Reflexivity in Boomtown Transitions: Young People Deciding on a School and Work Direction // *Journal of Education and Work*. Vol. 24. № 4. P. 372–391.
- Peterson R. A., Kern R. M.* (1996). Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore // *American Sociological Review*. Vol. 61. № 5. P. 900–907.
- Plummer K.* (1995). *Telling Sexual Stories: Power, Change, and Social Worlds*. Hove: Psychology Press.
- Plumridge L., Thomson R.* (2003). Longitudinal Qualitative Studies and the Reflexive Self // *International Journal of Social Research Methodology*. Vol. 6. № 3. P. 213–222.
- Portes A.* (1998): Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology // *Annual Review of Sociology*. № 24. P. 1–24.
- Predelli L. N., Cebulla A.* (2011): Perceptions of Labour Market Risks: Shifts and Continuities across Generations // *Current Sociology*. Vol. 59. № 1. P. 24–41.
- Quartz S., Asp A.* (2015). Unequal, Yet Happy // *New York Times*. April 11, 2015. Available at: <http://www.nytimes.com/2015/04/12/opinion/sunday/unequal-yet-happy.html> (accessed 12 April 2015).

- Reardon S. F.* (2011). The Widening Academic Achievement Gap Between the Rich and the Poor: New Evidence and Possible Explanations // *Whither Opportunity?: Rising Inequality and the Uncertain Life Chances of Low-Income Children* / Ed. by R. Murnane, G. Duncan. New York: Russell Sage Foundation Press. P. 91–116.
- Roberts K.* (1995). *Youth and Employment in Modern Britain*. Oxford: Oxford University Press.
- Sandefur G. D., Meier A., Campbell M.* (2006). Family Resources, Social Capital, and College Attendance // *Social Science Research*. Vol. 35. № 2. P. 525–553.
- Scambler G.* (2007). Social Structure and the Production, Reproduction and Durability of Health Inequalities // *Social Theory & Health*. Vol. 5. № 4. P. 297–315.
- Schoon I.* (2007). Adaptations to Changing Times: Agency in Context // *International Journal of Psychology*. Vol. 42. № 2. P. 94–101.
- Simonson J., Gordo L.R., Titova N.* (2011): Changing Employment Patterns of Women in Germany: How Do Baby Boomers Differ from Older Cohorts? A Comparison Using Sequence Analysis // *Advances in Life Course Research*. Vol. 16. № 2. P. 65–82.
- Simonson J., Gordo L. R., Kelle N.* (2015). Separate Paths, Same Direction? De-standardization of Male Employment Biographies in East and West Germany // *Current Sociology*. Vol. 63. № 3. P. 387–410.
- Skeggs B.* (2005). The Making of Class and Gender through Visualizing Moral Subject Formation // *Sociology*. Vol. 39. № 5. P. 965–982.
- Solga H., Konietzka D.* (1999). Occupational Matching and Social Stratification Theoretical Insights and Empirical Observations Taken from a German–German Comparison // *European Sociological Review*. Vol. 15. № 1. P. 25–47.
- Thompson P.* (2000). *Voice of The Past: Oral History*. Oxford: Oxford University Press.
- Tomanović S.* (2012). Agency in the Social Biographies of Young People in Belgrade // *Journal of Youth Studies*. Vol. 15. № 5. P. 605–620.
- Vaughan K.* (2010). Learning Workers: Young New Zealanders and Early Career Development // *Vocations and Learning*. Vol. 3. № 2. P. 157–178.
- Vickerstaff S., Cox J.* (2005). Retirement and Risk: The Individualisation of Retirement Experiences? // *Sociological Review*. Vol. 53. № 1. P. 77–95.
- Vieira M. M., Pappamikail L., Resende J.* (2013). Forced to Deal with the Future: Uncertainty and Risk in Vocational Choices among Portuguese Secondary School Students // *Sociological Review*. Vol. 61. № 4. P. 745–768.
- Warde A., Martens L.* (2000). *Eating Out: Social Differentiation, Consumption and Pleasure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber M.* (2009). *From Max Weber: Essays in Sociology*. London: Routledge.
- Webster J., Watson R. T.* (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review // *Management Information Systems Quarterly*. Vol. 26. № 2. P. xiii–xxiii.
- Weeden K. A., Grusky D. B.* (2005). The Case for a New Class Map // *American Journal of Sociology*. Vol. 111. № 1. P. 141–212.

- Weststar J.* (2012). Negotiating in Silence: Experiences with Parental Leave in Academia // *Relations Industrielles/Industrial Relations*. Vol. 67. № 3. P. 352–374.
- Widmer E. D., Ritschard G.* (2009). The De-standardization of the Life Course: Are Men and Women Equal? // *Advances in Life Course Research*. Vol. 14. № 1–2. P. 28–39.
- Wiik K. A., Bernhardt E., Noack T.* (2010). Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitators in Norway and Sweden // *Acta Sociologica*. Vol. 53. № 3. P. 269–287.
- Wilson J., Musick M. A.* (1997). Work and Volunteering: The Long Arm of The Job // *Social Forces*. Vol. 76. № 1. P. 251–272.
- Woodiwiss A.* (1996). Searching for Signs of Globalisation // *Sociology*. Vol. 30. № 4. P. 799–810.
- Woodman D.* (2010). Class, Individualisation and Tracing Processes of Inequality in a Changing World: A Reply to Steven Roberts // *Journal of Youth Studies*. Vol. 13. № 6. P. 737–746.
- Worts D., Sacker A., McMunn A., McDonough P.* (2013). Individualization, Opportunity and Jeopardy in American Women's Work and Family Lives: A Multi-state Sequence Analysis // *Advances in Life Course Research*. Vol. 18. № 4. P. 296–318.
- Wright E. O.* (1997). *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright E. O.* (2005). *Approaches to Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Agency and Structure in Social Mobility in the Light of Individualization: Empirical Research Review

Polina Erofeeva

Lecturer, Nizhny Novgorod State Linguistics University

Address: Minina Str., 31a, Nizhny Novgorod, Russian Federation 603155

E-mail: polina.erofeeva@gmail.com

The article addresses the issue of empirical investigation of individualization in life-course. The theory of individualization implies that the significance of social structure in individual life-course diminishes, giving way to the agency of personal preferences and skills. Thus, the theory raises an issue of structure-agency dynamics in life-course, and poses a methodological challenge for research design to take both social structuralization and individual action into account. Empirical research on individualization varies in how it meets this challenge. The review streamlines the main topics, the analytical tools, and the empirical evidence from this research. We identify three main currents in empirical research on individualization. Firstly, the research is concerned with the changing role of agency in life-course, raising a question of its significance vis-à-vis structure. Secondly, individualization is approached through the lens of a social inequality critique; this type of research investigates socio-economic- and gender-patterning in individualization. Finally, individualization is understood as a leading principle of modern labor markets, and social welfare institutions. The article highlights the inconsistencies and tensions in the empirical evidence. On the micro-level, individualization manifests itself as a change in biographical orientations, that is, the increasing value of independence, ambition, and flexibility encouraged by modern

labor markets and social safety-net design. On the macro-level, it is embodied in the increasing differentiation and destandardization in life-course. Yet, an ability to make biographical plans a reality continues to depend on social conditions. The article discusses the analytical categories which help comprehend these tensions; structured individualization, default/passive and developing/active individualization, and biographical surfing. The scope of the review goes beyond youth studies where the issue of individualization is the most commonly discussed, and spans empirical evidence on individualization found in the sociology of adulthood and older age, and social research on the welfare state, education, and labor markets.

Keywords: individualization, social mobility, biography, life-course research, inequality.

References

- Atkinson W. (2007) Beck, Individualization and the Death of Class: A Critique. *British Journal of Sociology*, vol. 58, no 3, pp. 349–366.
- Atkinson W. (2010) Class, Individualisation and Perceived (Dis)Advantages: Not Either/Or but Both/And? *Sociological Research Online*, vol. 15, no 4. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/15/4/7.html> (accessed 21 October 2014).
- Bandura A. (2001) Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, no 52, pp. 1–26.
- Bartley M. (2007) *Health Inequality: An Introduction to Theories, Concepts and Methods*, Cambridge: Polity Press.
- Bauman Z. (2007) *Liquid Times*, Cambridge: Polity Press.
- Bauman Z. (2013) *Liquid Modernity*, New York: John Wiley and Sons.
- Beck U. (1992) *Risk Society: Towards A New Modernity*, Thousand Oaks: Sage.
- Beck U. (1994) *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*, Redwood City: Stanford University Press.
- Beck U. (2000) *The Brave New World of Work*, Cambridge: Polity.
- Beck U. (2007) Beyond Class and Nation: Reframing Social Inequalities in a Globalizing World. *British Journal of Sociology*, vol. 58, no 4, pp. 679–705.
- Beck U., Beck-Gernsheim E. (2002) *Individualization: Institutionalized Individualization and Its Social and Political Consequences*, London: Sage.
- Beck U., Lau C. (2005) Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the “Meta-Change” of Modern Society. *British Journal of Sociology*, vol. 56, no 4, pp. 525–557.
- Bendix R., Lipset S. M. (1966) *Class, Status, and Power: Social Stratification in Comparative Perspective*, New York: Free Press.
- Berger P. A. (1996) *Individualisierung: Statusunsicherheit und Erfahrungsvielfalt*, Berlin: Springer.
- Berger P. (2008) Individualizacija i izmenenie znachenija social'nyh neravenstv: nedoponimanie i predlozhenija po ego ustranjenju [Individualization and The Changing Meaning of Social Inequality: Misunderstanding and a Proposal to Fix It]. *Social'noe neravenstvo: izmenenija v social'noj strukture. Evropejskaja perspektiva* [Social Inequality: Changes in Social Structure. European Perspective] (eds. V. Voronkova, M. Sokolova), SPb.: Aleteija, pp. 12–24.
- Berger P. A., Steinmüller P., Sopp P. (1993) Differentiation of Life-Courses?: Changing Patterns of Labour-Market Sequences in West Germany. *European Sociological Review*, vol. 9, no 1, pp. 43–65.
- Berger P. L., Berger B., Kellner H. (1973) *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*, London: Vintage.
- Bertaux D. (1981) *Biography and Society: the Life History Approach in the Social Sciences*, London: Sage.
- Bertaux D. (1997) Poleznost' rasskazov o zhizni dlja realistichnoj i znachimoj sociologii [Life Stories Research for Realistic and Meaningful Sociology]. *Biograficheskij metod v izuchenii postsocialisticheskikh obshhestv* [Biographical Method for Research in Post-Socialist States] (eds. V. Voronkova, E. Zdravomyslova), SPb.: CNSI, pp. 14–17.

- Bertaux D., Kohli M. (1984) The Life Story Approach: A Continental View. *Annual Review of Sociology*, vol. 10, pp. 215–237.
- Bertaux D., Thompson P. R. (2006) *Pathways to Social Class: a Qualitative Approach to Social Mobility*, Piscataway: Transaction Publishers.
- Bhambra G. K. (2007) *Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bhat M. (2013) Revisiting the Youth Corridor: from Classical through Post-Modern to Late-Modern Sociology. *International Review of Sociology*, vol. 23, no 1, pp. 200–220.
- Blau P. M., Duncan O. D. (1967) *The American Occupational Structure*, New York: John Wiley and Sons.
- Boote D. N., Beile P. (2005) Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, vol. 34, no 6, pp. 3–15.
- Bouchard B., Zhao J. (2000) University Education: Recent Trends in Participation, Accessibility and Returns. *Education Quarterly Review*, no 6, pp. 24–31.
- Bourdieu P. (1984) *Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste*, Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu P., Passeron J. C. (1990) *Reproduction in Education, Society and Culture*, Thousand Oaks: Sage.
- Brannen J., Nilsen A. (2005) Individualisation, Choice and Structure: A Discussion of Current Trends in Sociological Analysis. *Sociological Review*, vol. 53, no 3, pp. 412–428.
- Breen R. (2004) *Social Mobility in Europe*, Oxford: Oxford University Press.
- Breen R., Rottman D. B. (2014) *Class Stratification: Comparative Perspectives*, London: Routledge.
- Brown P., Power S., Thollen G., Allouch A. (2014) Credentials, Talent and Cultural Capital: a Comparative Study of Educational Elites in England and France. *British Journal of Sociology of Education*. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01425692.2014.920247> (accessed 12 December 2014).
- Budros A. (1997) The New Capitalism and Organizational Rationality: The Adoption of Downsizing Programs, 1979–1994. *Social Forces*, vol. 76, no 1, pp. 229–250.
- Carocci S. (2011) Social Mobility and the Middle Ages. *Continuity and Change*, vol. 26, no 3, pp. 367–404.
- Cerulo K. A. (1997) Identity Construction: New Issues, New Directions. *Annual Review of Sociology*, vol. 23, pp. 385–409.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2004) Is There a Status Order in Contemporary British Society? Evidence from the occupational structure of friendship. *European Sociological Review*, vol. 20, no 5, pp. 383–401.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2007) Social Status and Newspaper Readership. *American Journal of Sociology*, vol. 112, no 4, pp. 1095–1134.
- Chernysh M. (2011) Transmissija kul'turnogo kapitala i social'naja mobil'nost' [Transmission of Cultural Capital and Social Mobility]. *Sotsiologicheskie issledovaniia*, no 8, pp. 42–53.
- Chetty R., Hendren N., Klein P., Saez E. (2013) *The Equality of Opportunity Project*, Cambridge: Harvard University.
- Clausen J. S. (1991) Adolescent Competence and the Shaping of the Life Course. *American Journal of Sociology*, vol. 96, pp. 805–42.
- Coleman J. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, vol. 94, suppl., pp. 95–120.
- Côté, J. E. (2002) The Role of Identity Capital in the Transition to Adulthood: the Individualization Thesis Examined. *Journal of Youth Studies*, vol. 5, no 2, pp. 117–134.
- Davis K., Moore W. E. (1945) Some Principles of Stratification. *American Sociological Review*, vol. 10, no 5, pp. 242–249.
- Dawson M. (2012) Reviewing the Critique of Individualization The Disembedded and Embedded Theses. *Acta Sociologica*, vol. 55, no 4, pp. 305–319.
- Dhunpath R. (2000) Life History Methodology: "Narradigm" Regained. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, vol. 13, no 5, pp. 543–551.

- Diepstraten I., Du Bois-Reymond M., Vinken H. (2006) Trendsetting Learning Biographies: Concepts of Navigating through Late-Modern Life and Learning. *Journal of Youth Studies*, vol. 9, no 2, pp. 175–193.
- Duncan O. D. (1961) A Socioeconomic Index for All Occupations. *Occupations and Social Status* (ed. A. J. Reiss Jr.), New York: Free Press, pp. 109–138.
- Duncan S. (2007) What's the Problem with Teenage Parents? And What's the Problem with Policy? *Critical Social Policy*, vol. 27, no 3, pp. 307–334.
- Duncan S. (2011) The World We Have Made? Individualisation and Personal Life in the 1950s. *Sociological Review*, vol. 59, no 2, pp. 242–265.
- Elder G. H., Jr., Giele J. Z. (2009) *The Craft of Life Course Research*, New York: Guilford Press.
- Elder G. H. (1998) The Life Course as Developmental Theory. *Child Development*, vol. 69, no 1, pp. 1–12.
- Elliott J. (2005) *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: Sage.
- Engel U., Strasser H. (1995) Global Risks and Social Inequality: Critical Remarks on the Risk Society Hypothesis. *Canadian Journal of Sociology*, vol. 23, no 1, pp. 91–103.
- Erikson R., Goldthorpe J. H. (1992) *The Constant Flux: a Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Oxford: Oxford University Press.
- Erikson R., Goldthorpe J. H., Hällsten M. (2012) No Way Back up from Ratcheting Down? A Critique of the "Microclass" Approach to the Analysis of Social Mobility. *Acta Sociologica*, vol. 55, no 3, pp. 211–229.
- Evans G. (1999) *The End of Class Politics?: Class Voting in Comparative Context*, Oxford: Oxford University Press.
- Evans K. (2002) Taking Control of Their Lives?: Agency in Young Adult Transitions in England and the New Germany. *Journal of Youth Studies*, vol. 5, no 3, pp. 245–269.
- Evans, K., Heinz W. R. (1994) *Becoming Adults in England and Germany*, London: Anglo-German Foundation.
- Farrugia D. (2013) Addressing the Problem of Reflexivity in Theories of Reflexive Modernisation: Subjectivity and Structural Complexity. *Journal of Sociology*. Available at: <http://jos.sagepub.com/content/early/2013/02/28/1440783313480396> (accessed 24 December 2014).
- Farrugia D. (2013) Young People and Structural Inequality: Beyond the Middle Ground. *Journal of Youth Studies*, vol. 16, no 5, pp. 679–693.
- Foroohar R. (2011) What Ever Happened to Upward Mobility? *Time Magazine*, no 34. Available at: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2098584,00.html> (accessed 15 May 2015).
- Furlong A., Cartmel F. (2006) *Young People and Social Change*, Maidenhead: Open University Press.
- Gabriel Y., Gray D. E., Goregaokar H. (2013) Job Loss and its Aftermath Among Managers and Professionals: Wounded, Fragmented and Flexible. *Work, Employment & Society*, vol. 27, no 1, pp. 56–72.
- Giddens A. (1994) Living in a Post-Traditional Society. *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order* (eds. U. Beck, A. Giddens, S. Lash), Cambridge: Polity Press, pp. 56–109.
- Giddens A. (2002) *Runaway World: how Globalization is Reshaping Our Lives*, London: Profile books.
- Giddens A. (2013) *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, New York: John Wiley and Sons.
- Glazer-Raymo J. (2001) *Shattering the Myths: Women in Academe*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Goldthorpe J. H., Hope K. (1974) *The Social Grading of Occupations: A New Approach and Scale*, Oxford: Clarendon Press.
- Golenkova Z. (2014) Social'noe neravenstvo i differenciacija [Social Inequality and Differentiation]. Golenkova Z., *Izbrannye trudy* [Selected Works], Moscow: Novyj Hronograf, pp. 219–225.
- Gonski D. (2012) *Review of Funding for Schooling Final Report*, Canberra: Department of Education, Employment, and Workplace Relations.
- Gould R. (2006) Choice or Chance: Late Retirement in Finland. *Social Policy and Society*, vol. 5, no 4, pp. 519–531.

- Graaf W., Zenderen K. van (2013) School–Work Transition: the Interplay between Institutional and Individual Processes. *Journal of Education and Work*, vol. 26, no 2, pp. 121–142.
- Gross N., Fosse E. (2012) Why are Professors Liberal? *Theory and Society*, vol. 41, no 2, pp. 127–168.
- Grusky D. B., Sørensen J. B. (1998) Can Class Analysis be Salvaged? *American Journal of Sociology*, vol. 103, no 5, pp. 1187–1234.
- Gudmundsson G. (2000) Whatever Became of Society? *Nordic Youth Research Symposium*, no 1, pp. 1–21.
- Hart C. (1998) *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*, London: Sage.
- Heelas P., Lash S., Morris P. (1996) *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*, Cambridge: Blackwell.
- Heinz W. R. (1999) *From Education to Work: Cross-National Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heinz W. R., Kruger H. (2001) Life Course: Innovations and Challenges for Social Research. *Current Sociology*, vol. 49, no 2, pp. 29–45.
- Hitlin S., Elder G. (2007) Time, Self, and the Curiously Abstract Concept of Agency. *Sociological Theory*, vol. 25, no 2, pp. 170–191.
- Hodge R. W., Treiman D. J., Rossi P. H. (1966) A Comparative Study of Occupational Prestige. *Class, Status and Power: Social Stratification in Comparative Perspective* (eds. R. Bendix, S. M. Lipset), New York: Free Press, pp. 309–321.
- Holland J., Thomson R. (2009) Gaining Perspective on Choice and Fate: Revisiting Critical Moments. *European Societies*, vol. 11, no 3, pp. 451–469.
- Intymakova L. (2013) Problema mifologizacii i sekularizacii soznanija v sovremennom obshhestve [The Issue of Mythologization and Secularization in Modernity]. *Koncept*, no 7, pp. 1–6.
- Irwin S. (1995) *Rights of Passage: Social Change and the Transition from Youth Adulthood*, London: UCL Press.
- Jamieson L. (2012) Intimacy as a Concept: Explaining Social Change in the Context of Globalisation or Another Form of Ethnocentrism? *Sociological Research Online*, vol. 16, no 4. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/16/4/15.html> (accessed 10 November 2014).
- Jones I. R., Leontowitsch M., Higgs P. (2010) The Experience of Retirement in Second Modernity: Generational Habitus among Retired Senior Managers. *Sociology*, vol. 44, no 1, pp. 103–120.
- Kohler U. (2005) Statusinkonsistenz und Entstrukturierung von Lebenslagen. *Soziologie und Sozial Psychologie*, vol. 57, no 2, pp. 230–253.
- Kohn M. (1989) *Class and Conformity: a Study in Values*, Chicago: University of Chicago Press.
- Kumar K. (1995) *From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World*, Oxford: Blackwell.
- Kohn M. (1989) Social Structure and Personality: A Quintessentially Sociological Approach to Social Psychology. *Social Forces*, vol. 68, no 1, pp. 26–33.
- Konstantinovskiy D. (2003) Samoopredelenie ili adaptacija? [Adaptation or Choice?]. *Mir Rossii*, vol. 12, no 2, pp. 123–143.
- Krugman P. (2007) *The Sciecnce of a Liberal*, New York: W.W. Norton & Co.
- Kvande E., Rasmussen B. (2008) *Arbeidslivets Klemmer: Paradokser i Det Nye Arbeidslivet*, Oslo: Fagbokforlaget.
- Laidley T. (2013) Climate, Class, and Culture: Political Issues as Cultural Signifiers in the US. *Sociological Review*, vol. 61, no 1, pp. 153–171.
- Laughland-Booÿ J., Mayall M., Skrbíš Z. (2015) Whose Choice?: Young People, Career Choices and Reflexivity Re-Examined. *Current Sociology*, vol. 63, no 4, p. 586–603.
- Laumann E. O. (1966) *Prestige and Association in an Urban Community: An Analysis of an Urban Stratification System*, Indianapolis and New York: Bobbs-Merrill.
- Lazzarato M. (2009) Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution of the Social. *Theory, Culture & Society*, vol. 26, no 6, pp. 109–133.
- Lewis D. (2008) Using Life Histories in Social Policy Research: The Case of Third Sector/Public Sector Boundary Crossing. *Journal of Social Policy*, vol. 37, no 4, pp. 559–578.

- Lipset S. M. (1979) *The First New Nation: the United States in Comparative and Historical Perspective*, New York: Norton and Company.
- Lukes S. (1973) *Individualism*, Oxford: Basil Blackwell.
- Lyon D. (1999) *Postmodernity*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Marshall V. W. (2001) *Older Workers and Socioeconomic Transformation*. Regional Conference of The Gerontological Society of Singapore. Available at: http://www.researchgate.net/profile/Victor_Marshall/publication/254428896_Older_Workers_and_Socioeconomic_Transformation/links/00b49534411f47ddafo00000.pdf (accessed 14 May 2014).
- Marshall V. W. (2000) *Agency, Structure, and the Life Course in the Era of Reflexive Modernization*. American Sociological Association Annual Meeting. Available at: http://www.researchgate.net/profile/Victor_Marshall/publication/238748159_Agency_Structure_and_the_Life_Course_in_the_Era_of_Reflexive_Modernization/links/oc96051d83cb2ce51b000000.pdf (accessed 8 April 2015).
- Marx K. (1992) *Capital, Volume 1: A Critique of Political Economy*, London: Penguin Classics.
- Mayer K. U. (2004) Whose Lives?: How History, Societies, and Institutions Define and Shape Lifecourses. *Research in Human Development*, vol. 3, no 3, pp. 161–87.
- McInerney P., Smyth J. (2014) "I Want to Get a Piece of Paper that Says I Can Do Stuff": Youth Narratives of Educational Opportunities and Constraints in Low Socio-Economic Neighbourhoods. *Ethnography and Education*, vol. 9, no 3, pp. 239–252.
- McMahan E. M., Rogers K. L. (2013) *Interactive Oral History Interviewing*, London: Routledge.
- McNeal R. B. (1999) Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on Science Achievement, Truancy, and Dropping Out. *Social Forces*, vol. 78, no 1, pp. 117–144.
- Mendenhall R., Kalil A., Spindel L. J., Hart C. M. D. (2008) Job Loss at Mid-Life: Managers and Executives Face the "New Risk Economy". *Social Forces*, vol. 87, no 1, pp. 185–209.
- Middleton S. (1993) *Educating Feminists: Life Histories and Pedagogy*, New York: Teachers College Press.
- Miller P. H. (1993) *Theories of Developmental Psychology*, San Francisco: W. H. Freeman and Company.
- Mishel L., Bernstein J., Allegretto S. (2005) *The State of Working America, 2004–2005*, Ithaca: Cornell University Press.
- Morgan S., Grusky D., Fields G. (2011) *Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics*, Stanford: Stanford University Press.
- Mortimer J. T. (2003) *Working and Growing Up in America*, Cambridge: Harvard University Press.
- Müller R., Plieninger J., Rapp C. (2013) *Recherche 2.0.*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Newman K. (1999) *Falling from Grace: the Experience of Downward Mobility in the American Middle Class*, Oakland: University of California Press.
- Nollmann G., Strasser H. (2007) Individualization as an Interpretive Scheme of Inequality: Why Class and Inequality Persists. *Contested Individualization. Debates about contemporary personhood* (ed. H. Cosmo), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 89–97.
- O'Connor C. D. (2014) Agency and Reflexivity in Boomtown Transitions: Young People Deciding on a School and Work Direction. *Journal of Education and Work*, vol. 24, no 4, pp. 372–391.
- Ochkina A. (2010) Kul'turnyj kapital sem'i kak faktor social'nogo povedenija i social'noj mobil'nosti. na materialah issledovanija v provincial'nom rossijskom gorode [Family Cultural Capital in Social Behaviour and Social Mobility: Based on Research in a Provincial Russian Town]. *Mir Rossii*, vol. 19, no 1, pp. 67–88.
- Peterson R. A., Kern R. M. (1996) Changing Highbrow Taste: from Snob to Omnivore. *American Sociological Review*, vol. 61, no 5, pp. 900–907.
- Plummer K. (1995) *Telling Sexual Stories: Power, Change, and Social Worlds*, Hove: Psychology Press.
- Plumridge L., Thomson R. (2003) Longitudinal Qualitative Studies and the Reflexive Self. *International Journal of Social Research Methodology*, vol. 6, no 3, pp. 213–222.
- Popov D., Tumeneva J., Larina G. (2013) Zhizn' posle 9-go klassa: kak lichnye dostizhenija uchashhihsja i resursy ih semej vlijajut na zhiznennye traektorii [Life After 9th Grade: How Students Personal Achievement and Family Resources Affect Life Trajectories]. *Voprosy obrazovania*, no 3, pp. 310–334.

- Portes A. (1998) Social Capital: its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, no 24, pp. 1–24.
- Predelli L. N., Cebulla A. (2011) Perceptions of Labour Market Risks: Shifts and Continuities across Generations. *Current Sociology*, vol. 59, no 1, pp. 24–41.
- Quartz S., Asp A. (2015) Unequal, Yet Happy. *New York Times*. April 11, 2015. Available at: <http://www.nytimes.com/2015/04/12/opinion/sunday/unequal-yet-happy.html> (accessed 12 April 2015).
- Rearson S. F. (2011) The Widening Academic Achievement Gap between the Rich and the Poor: New Evidence and Possible Explanations. *Whither Opportunity?: Rising Inequality and the Uncertain Life Chances of Low-Income Children* (eds. R. Murnane, G. Duncan), New York: Russell Sage Foundation Press, pp. 91–116.
- Roberts K. (1995) *Youth and Employment in Modern Britain*, Oxford: Oxford University Press.
- Rogozin D. (2015) Kak rabotaet avtojetnografija? [How Autoethnography Works]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 1, pp. 224–273.
- Sandefur G. D., Meier A., Campbell M. (2006) Family Resources, Social Capital, and College Attendance. *Social Science Research*, vol. 35, no 2, pp. 525–553.
- Scambler G. (2007) Social Structure and the Production, Reproduction and Durability of Health Inequalities. *Social Theory & Health*, vol. 5, no 4, pp. 297–315.
- Schoon I. (2007) Adaptations to Changing Times: Agency in Context. *International Journal of Psychology*, vol. 42, no 2, pp. 94–101.
- Shkaratan O. (2011) Ozhidaniya i real'nost': social'naja mobil'nost' v kontekste problemy ravenstva shansov [Expectations and Reality: Social Mobility in the Context of Life Chances Inequality]. *Obshhestvennye nauki i sovremennost'*, no 1, pp. 5–24.
- Simonson J., Gordo, L. R., Titova N. (2011) Changing Employment Patterns of Women in Germany: How Do Baby Boomers Differ from Older Cohorts? A Comparison Using Sequence Analysis. *Advances in Life Course Research*, vol. 16, no 2, pp. 65–82.
- Simonson J., Gordo L. R., Kelle N. (2015) Separate Paths, Same Direction?: De-Standardization of Male Employment Biographies in East and West Germany. *Current Sociology*, vol. 63, no 3, pp. 387–410.
- Skeggs B. (2005) The Making of Class and Gender through Visualizing Moral Subject Formation. *Sociology*, vol. 39, no 5, pp. 965–982.
- Solga H., Konietzka D. (1999) Occupational Matching and Social Stratification: Theoretical Insights and Empirical Observations Taken from a German–German Comparison. *European Sociological Review*, vol. 15, no 1, pp. 25–47.
- Teslenko I. (2013) Portret abiturienta 2013 goda (vypusknika shkoly postupajushhego v uchrezhdeniya SPO i VPO): rezul'taty issledovanija [The Portrait of High School Graduate'13: Results of the Empirical Study]. *Modern Problems of Science and Education*, no 4, pp. 1–8.
- Thompson P. (2000) *Voice of the Past: Oral History*, Oxford: Oxford University Press.
- Tolstokorova A. (2013) Transnacional'naja i gendernaja paradigmy v izuchenii mezhdunarodnoj mobil'nosti: na primere Ukrainy [Transnational and Gender Paradigm in the Study of International Mobility: As Applied to Ukraine]. *Russian Sociological Review*, vol. 12, no 2, pp. 98–121.
- Tomanović S. (2012) Agency in the Social Biographies of Young People in Belgrade. *Journal of Youth Studies*, vol. 15, no 5, pp. 605–620.
- Tsvetaeva N. (2003) Motivacija dostizhenija v "jepohu peremen" [Motivation for Achievement in "Transition Times"]. *Teleskop*, no 6, pp. 1–7.
- Vaughan K. (2010) Learning Workers: Young New Zealanders and Early Career Development. *Vocations and Learning*, vol. 3, no 2, pp. 157–178.
- Vickerstaff S., Cox J. (2005) Retirement and Risk: The Individualisation of Retirement Experiences? *The Sociological Review*, vol. 53, no 1, pp. 77–95.
- Vieira M. M., Pappamikail L., Resende J. (2013) Forced to Deal with the Future: Uncertainty and Risk in Vocational Choices among Portuguese Secondary School Students. *Sociological Review*, vol. 61, no 4, pp. 745–768.
- Warde A., Martens L. (2000) *Eating Out: Social Differentiation, Consumption and Pleasure*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Weber M. (2009) *From Max Weber: Essays in Sociology*, London: Routledge.
- Webster J., Watson R. T. (2002) Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *Management Information Systems Quarterly*, vol. 26, no 2, pp. xiii–xxiii.
- Weeden K. A., Grusky D. B. (2005) The Case for a New Class Map. *American Journal of Sociology*, vol. 111, no 1, pp. 141–212.
- Weststar J. (2012) Negotiating in Silence: Experiences with Parental Leave in Academia. *Relations Industrielles/Industrial Relations*, vol. 67, no 3, pp. 352–374.
- Widmer E. D., Ritschard G. (2009) The De-Standardization of the Life Course: Are Men and Women Equal? *Advances in Life Course Research*, vol. 14, no 1–2, pp. 28–39.
- Wiik K. A., Bernhardt E., Noack T. (2010) Love or Money?: Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. *Acta Sociologica*, vol. 53, no 3, pp. 269–287.
- Wilson J., Musick M. A. (1997) Work and Volunteering: The Long Arm of the Job. *Social Forces*, vol. 76, no 1, pp. 251–272.
- Woodiwiss A. (1996) Searching for Signs of Globalisation. *Sociology*, vol. 30, no 4, pp. 799–810.
- Woodman D. (2010) Class, Individualisation and Tracing Processes of Inequality in a Changing World: A Reply to Steven Roberts. *Journal of Youth Studies*, vol. 13, no 6, pp. 737–746.
- Worts D., Sacker A., McMunn A., McDonough P. (2013) Individualization, Opportunity and Jeopardy in American Women's Work and Family Lives: a Multi-State Sequence Analysis. *Advances in Life Course Research*, vol. 18, no 4, pp. 296–318.
- Wright E. O. (1997) *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright E. O. (2005) *Approaches to Class Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Yadov V. (2001) Social'nyj resurs individov i grupp kak ih kapital: vozmozhnost' primeneniya universal'noj metodologii issledovaniya real'nogo rassloeniya v rossijskom obshhestve [Social Resources of Individuals and Groups as Their Capital: Potential Applications of the Universal Research Methodology in the Study of Inequality in Russian Society]. *Kto i kuda stremitsja vesti Rossiju? Aktory makro-, mezo- i mikrourovnej sovremennogo transformacionnogo processa* [Who Wants to Lead Russia and Where to?: Macro-, Mezo- and Micro-Level Actors of the Contemporary Social Transformation] (ed. T. Zaslavskaya), Moscow: MSSES, pp. 310–319.

Очередной шаг на пути к академизации социологии спорта

СПААИЙ Р. (2014). СПОРТ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ / ПЕР. С АНГЛ. Н. В. СЕЛИВАНОВОЙ. М.: НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 288 С. ISBN 978-5-4454-0508-5. (БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА).

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Рецензируемое исследование вышло в рамках книжной серии¹, издаваемой Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) — специализированным учреждением по подготовке профессионалов в области спортивного менеджмента, открывшимся в Сочи в 2009 году. Сразу следует сказать, что ни данная образовательная площадка, ни ее периодическое издание — «Вестник РМОУ» — до сих пор не проявляли особого интереса к социологии или социальной теории спорта, что может показаться несколько странным для учебного заведения, в названии которого заявлено притязание на академический статус. Тем не менее их активность пока ограничивается полем чисто менеджерских проблем² — в полном соответствии с заявленной университетом образовательной программой, включающей в себя исключительно направления по подготовке менеджеров в области спортивной индустрии: управление объектами и инфраструктурой, организация соревнований, спортивные коммуникации и дипломатия и т. п.³

Между тем с 2011 года РМОУ реализует собственную издательскую программу, цель которой — «публикация серии книг воспоминаний, архивных материалов, работ по истории и философии олимпизма, а также лучших российских и зарубежных учебников по различным направлениям спортивного и олимпийского образования»⁴. Всего в рамках «Библиотеки Российского международного олим-

© Кильдюшов О. В., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. <http://www.olympicuniversity.ru/ru/books/items>

2. Безусловно, это тематическое поле является важным сегментом стремительно развивающейся спортивной науки, но слишком эмпирически ориентированным, чтобы обладать серьезным эвристическим социально-теоретическим потенциалом и представлять значительный интерес для широких интеллектуальных кругов. Об этом мне уже приходилось писать в другом месте: *Кильдюшов О. В.* (2013). Спорт как дело философии: об эвристической ценности новой аналитической оптики // *Логос*. № 5. С. 49.

3. <http://www.olympicuniversity.ru/ru/about/reference>

4. <http://www.olympicuniversity.ru/ru/publishing/center>

пийского университета» было издано 11 книг, в основном опять-таки скорее по спортивно-управленческой, нежели спортивно-теоретической тематике. Так, пять изданных университетом работ посвящены различным аспектам спортивно-менеджмента и маркетинга⁵, две — принципам олимпизма и «олимпийскому воспитанию»⁶. Воспоминания представлены впервые переведенными на русский язык мемуарами инициатора проведения Олимпийских игр Современности барона де Кубертена⁷. Из всего изданного до сих пор корпуса текстов ближе всего к собственно социально-теоретической проблематике является проведенное международным коллективом авторов исследование влияния новых медиа на сферу спорта⁸.

В этом смысле выход в рамках данной издательской программы рецензируемой здесь книги вызывает двойное удивление. Приятной неожиданностью является, во-первых, само обращение РМОУ к жанру социологии спорта, во-вторых, проблематика, которой посвящена первая собственно социологическая книга серии. Конечно, тема социальной мобильности давно находится в центре внимания многих западных социологов спорта — прежде всего в контексте проблематики социализации, интеграции в спорте и адаптации мигрантов посредством спорта. Теоретические и методологические основания подобных исследований были разработаны еще в работах Пьера Бурдьё и его последователей. Тем не менее остается не совсем понятен выбор издателями для перевода именно этой работы Рамона Спаайя, вышедшей в оригинале в 2011 году⁹. Проблематичность этого выбора связана с тем, что до сих пор непереведенными на русский язык остаются базовые тексты по социологии спорта, включая классические работы того же П. Бурдьё, Н. Элиаса, Х. Плесснера и других пионеров дисциплины, не говоря уже об актуальных исследованиях ведущих американских и европейских спортивных социологов. Остается надеяться, что за этой работой — безусловно представляющей интерес для подготовленного русского читателя, но явно выбранной случайно — в рамках данной серии последуют другие книги, публикация которых не вызовет никаких вопросов подобного рода...

Проблему социальной мобильности посредством спорта лучше всего передает цитата, вынесенная автором в качестве эпиграфа к введению: «Мальчик, который гонял скрученный из носков мяч, преуспел настолько, что играл профессиональ-

5. Шанпле Ж.-Л., Кюблер-Мабботт Б. (2012). Международный олимпийский комитет и Олимпийская система: управление мировым спортом / Пер. с англ. Н. В. Селивановой. М.: Рид Медиа; Дэвис Дж. А. (2013). Эффект Олимпийских игр: как спортивный маркетинг создает сильные бренды / Пер. с англ. Н. В. Селивановой, А. К. Смирнова. М.: Рид Медиа; Хойя Р, Смит А., Николсон М., Стюарт Б., Вестервик Г. (2013). Спортивный менеджмент: принципы и применение. М.: Рид Медиа; Ферран А., Шанпле Ж.-Л., Сеген Б. (2013). Олимпийский маркетинг. М.: Рид Медиа; Мастерманн Г. (2015). Стратегический менеджмент спортивных мероприятий. М.: Рид Медиа.

6. Миа Э., Гарсия Б. (2013). Основы Олимпизма. М.: Рид Медиа; Столяров В. И. (2014). Олимпийское воспитание: теория и практика. М.: Рид Медиа.

7. Кубертен П. де. (2011). Олимпийские мемуары. М.: Рид Групп.

8. Миа Э., Белоусов Л., Золотарев А. (2014). Олимпийское движение и новые медиа. М.: Планета.

9. Spaaij R. (2011). Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries. London: Routledge.

ным мячом на профессиональных полях в командах, творивших историю. Я путешествовал по миру, встречался с великими людьми — прекрасными людьми. Я и подумать не мог, что взлечу так высоко» (с. 10). Эти слова принадлежат Эдсону Арантису ду Насименту, более известному как Пеле. С помощью цитаты из «Автобиографии» легендарного футболиста Рамон Спаай приближается к постановке собственной исследовательской задачи: очевидно, что такие люди, как Пеле, стали знаменитыми и богатыми благодаря успеху в профессиональном спорте. Однако в то же время понятно, что восходящая социальная мобильность в профессиональном спорте — скорее всего миф, не имеющий никакого отношения к реальной практике в том же футболе, поскольку процент футболистов, приехавших на просмотр и заключивших контракт с клубом, довольно незначителен¹⁰. Иными словами, шансы на повышение социального статуса в профессиональном спорте, несомненно, существуют, однако этой опцией может воспользоваться лишь ничтожно малое число мечтающих о спортивной карьере как социальном лифте.

А может ли спорт помочь улучшить социальную позицию тех, кто занимается им непрофессионально? Как любительский спорт влияет на социальные траектории выходцев из неблагополучных социальных групп? В какой мере он содействует или препятствует вертикальной социальной мобильности людей из низших слоев общества, например мигрантов? Прежде чем ответить на эти и иные важные теоретические и методологические вопросы, автор фиксирует наличие «множества проблем, связанных с понятийным аппаратом, измерением и объяснением социальных последствий спорта», поскольку «существующие исследования не в состоянии предоставить инструменты для решения этих проблем. Предполагаемая социальная польза спорта остается недостаточно изученной» (с. 13)¹¹. Важнейшими вопросами, требующими методологически и эмпирически точного ответа, по его мнению, являются следующие: что именно происходит в рамках любительского спорта? Какие процессы производят тот или иной эффект? На кого они воздействуют? При каких условиях это воздействие наиболее эффективно? Каковы границы этих эффектов?

Спаай прямо дистанцируется от априорных представлений о спорте как однозначном позитивном социальном механизме, поскольку они не опираются на результаты критического и теоретически фундированного анализа. Скорее он соглашается с исследователями, которые исходят из того, что спорт сам по себе (как и большая часть других видов человеческой активности) не является ни плохим, ни хорошим, но может вызывать как положительные, так и отрицательные по-

10. Автор ссылается на относительно недавнее исследование Р. Поли, показавшего, что блестящие карьеры африканских футболистов в европейских клубах — «это скорее исключение среди череды неудач, и не только спортивных»: *Poli R.* (2010). African Migrants in Asian and European Football: Hopes and Realities // *Sport in Society*. Vol. 13. № 6. P. 1001–1002.

11. Здесь Р. Спаай цитирует Тесс Кей, обратившую внимание на узконаправленный характер исследований, ориентированных на кратковременные эффекты различных проектов и не позволяющих осуществить систематический анализ долговременного воздействия спорта: *Kay T.* (2009). Developing through Sport: Evidencing Sport Impacts on Young People // *Sport in Society*. Vol. 12. № 9. P. 1177–1191.

следствия. Более того, автор указывает на еще одну структурную проблему самой социологии спорта: большинство тех, кто пишет о «силе спорта», сами так или иначе связаны со спортивной индустрией, поскольку их исследования «финансируют, заказывают или проводят организации, крайне заинтересованные в том, чтобы продемонстрировать социальные выгоды спорта». Здесь он обращается к хорошо известной в социальных науках проблеме «соблюдения дистанции» (Н. Элиас) к изучаемому предмету, что невозможно без осознания социологами их собственной вовлеченности. В противном случае в качестве результатов нас неизбежно ждет не столько социоисторический анализ реальной спортивной деятельности, сколько идеологическая легитимация спорта, якобы служащего «делу мира и развития» (с. 14–15).

Таким образом, основная задача данной работы заключается в критическом исследовании воздействия — как позитивного, так и негативного — спортивной активности на любительском уровне на изменения социального положения представителей непривилегированных групп населения. При этом на пути ее решения автор видит множество проблем теоретико-концептуального, политико-идеологического и методологического уровня, в том числе связанных с парадоксом социального развития посредством спорта, когда социальная интеграция через спорт является формой социального контроля, позволяющей дисциплинировать и «цивилизовать» выходцев из неблагополучных семей (с. 16).

Конкретно исследователя интересуют способы, посредством которых спорт содействует или, напротив, препятствует вертикальной социальной мобильности представителей низших слоев общества. Для их выявления он осуществил в 2008–2010 годах сравнительный анализ четырех программ вовлечения в спортивную деятельность¹², реализуемых не только в различных социальных средах, но и на трех континентах! Так, объектами изучения стали: 1) программа подготовки спортивных стюардов в Роттердаме; 2) программа Vencer («Успех/победа») — спортивное партнерство для трудоустройства молодежи в Рио-де-Жанейро; 3) футбольный клуб в Мельбурне, в котором спортом занимаются беженцы из Африки, в частности из Сомали; 4) любительская футбольная лига северо-западных (сельских) районов австралийского штата Виктория. В исследованиях применялись различные методы сбора данных: интервью, фокус-группы, прямое наблюдение, опросы, работа в социальных сетях и др. При этом качественный и количественный анализ проводились параллельно и последовательно¹³.

Структурно материал книги разделен на 8 компактных глав. Глава 1 «Спорт и социальная мобильность: сложная взаимосвязь» посвящена формулировке основных теоретических положений и понятий, положенных в основу анализа

12. Автор разделяет опасения некоторых социологов относительно жанра исследований подобных «аффирмативных» программ, которые в конечном счете направлены на то, «чтобы подтвердить эффективность спортивных программ, а не на то, чтобы полно и объективно представить реально происходящие процессы» (с. 18).

13. У основных информантов интервью бралось 8 раз (!) через определенные промежутки времени, что позволило проследить динамику изменения их ситуации и представлений (с. 21).

эмпирического материала. В главе 2 «Социальный и организационный контекст спорта» дается подробное описание четырех изучаемых объектов, с упором на социальные условия их функционирования. Политический и образовательный контекст исследуемых программ описывается в главе 3. Как говорит само название главы 4 «Преодоление границ и создание барьеров», в ней демонстрируются способы, с помощью которых посредством спорта облегчается или, наоборот, усложняется накопление социального капитала. В главе 5 «Переход на новый уровень? Спорт и объединяющий социальный капитал» обсуждается роль институциональных агентов и типы ресурсов, приобретаемых в результате взаимодействия с ними. Глава 6 «Спорт и культурный капитал. Возможности и ограничения» посвящена связи между занятиями спортом и накоплением культурного капитала. В главе 7 «Социальная мобильность и экономика» автор переходит к теме экономического капитала, т. е. способам, позволяющим участникам программ улучшить свое материальное положение. И, наконец, в заключительной главе 8 «Социальные результаты спортивной деятельности: контрадикторные тенденции» анализируются выводы отдельных глав и делается общий вывод относительно противоречивых тенденций, порожденных социальными последствиями занятий непрофессиональным спортом.

Особый интерес, на мой взгляд, представляют социально-теоретические основания данной работы, на которых хочется остановиться более подробно. Они изложены во введении (с. 10–31) и главе 1 (с. 31–65). Как показывают названия некоторых глав, в книге активно используется понятийная сетка, которая была разработана П. Бурдьё, а затем уточнялась и критиковалась его последователями и оппонентами. В целом автор — вслед за классиком — рассматривает занятия спортом «как потенциальное средство для создания, накопления и преобразования различных форм капитала (экономического, культурного и социального), дающего человеку определенные преимущества, позволяющие ему повысить или поддерживать на прежнем уровне свой социальный статус» (с. 33).

С помощью данного аналитического инструментария он поднимает ряд вопросов: как различные виды капитала, заработанные в спорте, конвертируются один в другой? Может ли капитал, накопленный посредством спорта, напрямую переходить в другие сферы социальной жизни? И, наконец, в каких условиях занятия спортом могут способствовать восходящей социальной мобильности (с. 34)?

Спааий объясняет выбор данного концептуального языка тем, что, несмотря на то, что лишь незначительная часть огромного теоретического наследия Пьера Бурдьё имеет прямое отношение к спорту, его понятийная схема отлично подходит для социального взаимодействия в спорте. При этом исследователь сосредоточивает свое внимание на четырех проблемных аспектах теории Бурдьё, особенно релевантных для изучения спорта и его социального воздействия (с. 54).

1. Автор отмечает односторонний характер понимания социального капитала у Бурдьё, который рассматривал его преимущественно как достояние привилегированных слоев, не осознавая его важность для низших слоев населения. Более

того, он разделяет критику в адрес данной концепции, связанную с детерминистским подходом, который фокусирует все внимание на процессе воспроизводства и игнорирует процесс социальных изменений¹⁴. При этом исследователь уверен в том, что теорию Бурдьё можно развить и дополнить таким образом, чтобы она в большей мере учитывала напряженность и нестабильность социального воспроизводства, поскольку существует множество ситуаций, когда как индивидуальный, так и коллективный габитус изменяется фундаментально и/или очень быстро¹⁵. Конкретно в работе этот подход реализуется посредством эмпирического изучения вклада спорта в изменение социального, культурного и экономического капитала (с. 55–57).

2. Следующий важный момент концептуальной рамки книги связан с проблемой конвертации различных форм капитала. Применительно к исследованию социальной мобильности посредством спорта она предстает в качестве задачи изучения не только способов накопления и конвертации капитала в рамках поля спорта, но и того, каким образом данный капитал может переходить в другие социальные поля. В результате перед автором встают вопросы, связанные с относительной автономностью поля: первый касается проблемы границ полей, а второй — взаимосвязи различных полей, среди которых одни являются доминирующими (с. 59–60).

3. Третий аспект связан с тезисом Бурдьё об отсутствии универсальных законов взаимодействия полей, подводящим нас к проблеме применимости его понятий «габитус», «поле», «капитал» к любому времени и месту, что непосредственно связано с географией самого исследовательского проекта Рамона Спаайя. Ведь если даже идея различных форм капитала применима к различным историческим и культурным условиям, то степень и легкость его конвертации будет сильно отличаться в разных обществах, поскольку очевидно, что в рамках капиталистических отношений традиционные барьеры для конвертации форм капитала ослабевают¹⁶. Стоит ли говорить, что это имеет непосредственное влияние на изучение социальной мобильности в различных социокультурных контекстах (с. 60–61).

4. Еще один проблемный момент связан с единицей анализа в рамках концептуального языка П. Бурдьё, т. е. тем, что понимается под социальными агентами:

14. Ср. замечание Р. Дженкинса о том, что, исходя из теории Бурдьё, трудно понять, каким образом социальные агенты или группы могут воздействовать на свое существование: «Его социальная вселенная — это мир, где все происходит вокруг людей, но без их участия, они не могут вмешиваться в свою личную или коллективную судьбу». См.: *Jenkins R. (1992). Pierre Bourdieu. London: Routledge. P. 90–91.*

15. Здесь автор ссылается на Дж. Фридмана, отметившего, что, хотя Бурдьё справедливо подчеркивал стабилизирующую роль габитуса, «парная концепция габитус/поле гораздо более пластична, чем думает Бурдьё» (с. 57).

16. Ср.: Бурдьё «в недостаточной мере разработал методы исследования основополагающих категориальных различий между эпохами, обществами и культурами, поэтому не до конца ясно, как его аналитический инструментарий работает применительно к объектам, не похожим друг на друга в историческом или культурном плане». См.: *Calhoun C. (1993). Habitus, Field, and Capital: The Question of Historical Specificity // Bourdieu: Critical Perspectives / Ed. by C. Calhoun, E. Li Puma, M. Postone. Chicago: University of Chicago Press. P. 65.*

индивиды (и их семьи) или более крупные сообщества. Автор оспаривает мнения некоторых социологов о возможности расширения понятия «социальный капитал» на макроуровне до таких коллективных субъектов, как нации, и склоняется к позиции самого Бурдьё, считавшего семью институтом создания габитуса и главным местом накопления культурного капитала (с. 62–64).

Также следует отметить, что в отличие от многих исследований, авторы которых не решаются однозначно определить термин «спорт»¹⁷, в данной работе дается следующее операциональное определение: спорт — это институционализованный соревновательный и игровой физический деятельность. При этом исследователь подчеркивает важность для аналитических целей работы всех трех элементов: во-первых, спорт всегда предполагает институционализацию, т. е. организацию деятельности по переделанным правилам, затрагивающим время и пространство. Во-вторых, спорт в смысле соревнования есть всегда пространство соперничества и конфликта с победителями и побежденными. В-третьих, спорт имеет игровую природу, связанную с идеей неопределенности результата. Как утверждает Спайи, игнорирование любого из этих моментов чревато сужением поля исследования (с. 34–35).

Что касается основных выводов, к которым автор пришел в результате своего исследования, то они описываются четырьмя парами противоречивых тенденций, соответствующих различным единицам анализа. Так, на уровне социальной системы это пара «социальные изменения — социальное воспроизводство», на уровне управления — «социальное благополучие — социальный контроль», на уровне группы — «социальная интеграция и социальный контроль», а на уровне индивида — «независимость — ограничение». Эти тенденции, с одной стороны, дополняют друг друга, а с другой — друг другу противоречат. Именно их различные сочетания и определяют, в какой степени и каким образом участие в непрофессиональной спортивной деятельности способствует или препятствует социальной мобильности индивидов: «В каждом из четырех объектов исследования обнаруживается влияние этих тенденций. Однако их природа, воздействие, направленность и конкретное проявление различаются в зависимости от времени и места... Можно сказать, что внутри каждого социального пространства разные социальные агенты, обладающие различными формами капитала в разных пропорциях, вступают в борьбу, при этом одни получают большую выгоду, чем другие» (с. 241).

Кроме того, анализ связи между спортивной активностью и социальной мобильностью позволяет автору рассматривать спорт в качестве относительно автономного социального поля, «которое производит свой собственный, особый капитал, однако созданные в этом поле социальные, культурные и экономические ресурсы большей частью можно перенести в другие поля, и в то же время внешние

17. Клаус Тидеманн насчитал около 40 конкурирующих определений спорта, включая свой собственный вариант.

поля в значительной мере влияют на способность человека добиться успеха в жизни с помощью непрофессионального спорта» (с. 242).

Несмотря на довольно осторожный, скорее предварительный характер этих и ряда других выводов¹⁸, рецензируемая книга впечатляет теоретической глубиной и масштабом исследовательского замысла. Возможно, знакомство с данной работой станет стимулом для отечественных исследователей спорта и его социального воздействия, которые сделают более смелые выводы. В этом смысле ее выход на русском языке можно рассматривать как очередной шаг на пути институционализации социологии спорта в России как академической дисциплины¹⁹.

В любом случае хочется надеяться, что в рамках серии «Библиотека Российского международного олимпийского университета» выйдут как классические, так и актуальные исследования по социологии и даже философии спорта.

Another Step toward Academization of the Sociology of Sport

Oleg Kildyushov

Researcher, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Review: *Sport i social'naja mobil'nost': peresekaja granicy* [Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries] by Ramón Spaaij (Moscow: Nacional'noe obrazovanie, 2014) (in Russian).

18. Автор подчеркивает возможность того, что в анализе может превалировать оценка краткосрочного воздействия, оказываемого спортивной деятельностью, тогда как степень ее долговременного влияния по большей части остается неисследованной (с. 236).

19. До сих пор социология спорта развивалась в нашей стране преимущественно как отраслевая, ведомственная наука в рамках системы физвоспитания, почти полностью отсутствуя в академической социологии. См. об этом раздел «Советское наследие в области теории спорта» в моей статье: *Кильдюшов О. В. Указ соч. С. 47-49.*

Путешествие из Петербурга в Москву. 222 года спустя

НЕФЕДОВА Т. Г., ТРЕЙВИШ А. И. (РЕД.). (2015). ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ: 222 ГОДА СПУСТЯ. КН. 1: ДВА СТОЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МЕЖДУ МОСКВОЙ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. М.: ЛЕНАНД. 240 С. ISBN 978-5-9710-0984-9

НЕФЕДОВА Т. Г., АВЕРКИЕВА К. В. (РЕД.). (2015). ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ: 222 ГОДА СПУСТЯ. КН. 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ В XXI ВЕКЕ (ПО ИТОГАМ ЭКСПЕДИЦИИ 2013 ГОДА). М.: ЛЕНАНД. 352 С. ISBN 978-5-9710-1453-9

Тамара Кузнецова

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН
Адрес: Нахимовский проспект, д. 32, г. Москва, Российская Федерация 117218
E-mail: kte@inecon.ru

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», изданная в 1790 году, открыла литературно-художественное направление, развивающееся до сих пор и посвященное преимущественно анализу социальных аспектов российской жизни, заданному знаменитым автором. Между тем сегодня читатель ждет всестороннего — хозяйственного и пространственного — описания многообразия мест.

А. Н. Радищев и многие его последователи, в том числе современные, сосредоточивают внимание главным образом на социальном неравенстве, несправедливом характере российского государственного устройства, критике нерадивости государства, недостатках и равнодушии власти и т. п., оставляя, как правило, в стороне, географическое и хозяйственное описание состояния российских территорий, возможности и перспективы их социально-экономического, в том числе производственного и инфраструктурного развития.

А. Н. Радищев, сфокусировавшись на социальной стороне дела, повлиял на своих выдающихся современников, в частности А. С. Пушкина, который одним из первых откликнулся на описание радищевского путешествия. Но Пушкин, воскликнувший «Вослед Радищеву восславил я свободу!», не только отмечал убогость русской жизни, он восхищался смелостью и смысленностью русского человека, его удивительным проворством и ловкостью.

В наши дни социальный фактор играет не меньшую, а зачастую и большую, чем раньше, роль в описании российских территорий, в том числе пути из Петербурга в Москву и обратно. Однако читателя, наряду с материалами по поводу недостатков общественного устройства, интересует и то, что реально представляют собой наши территории, пространство, которым мы обладаем, его современное состоя-

© Кузнецова Т. Е., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

ние и возможное будущее. Большинство из нас хотели бы знать больше о наших просторах, быть объективнее в их оценке, изучать научно обоснованные выводы о возможных переменах.

Такую информацию можно получить из двухтомника, явившегося результатом работы над научным проектом «Путешествие из Петербурга в Москву: 222 года спустя». Книга 1: Два столетия российской истории между Москвой и Санкт-Петербургом. Книга 2: Путешествие из Петербурга в Москву в XXI веке (по итогам экспедиции 2013 года)¹. Проект предполагал решение трех основных задач (Кн. 2, с. 14):

1. Знакомство с природными ландшафтами, жилыми и хозяйственными зданиями, усадьбами, церквями и другими памятниками, анализ их состояния, а также движения на дорогах, активности придорожной торговли и т. д.

2. Общение с разными людьми — от облеченных властью и видящих территорию, достижения, проблемы «сверху» до местных жителей и дачников, которым достижения и провалы видны «снизу».

3. Сбор литературной, статистической, графической и прочей информации, в том числе музейной, важной для понимания истории и современной жизни районов, городов и сельских поселений.

По утверждению авторов, главная цель заключалась в том, чтобы провести «анализ современного состояния территории, которую решили кратко назвать межстоличьем» и показать ее эволюцию за более чем 200 лет. Это «потребовало не только крупномасштабного исследования и описания муниципальных районов, конкретных пунктов, но и обобщений, комплексного взгляда на все межстоличное пространство, его эволюцию и проблемы» (Кн. 1, с. 7).

Каждая из глав обеих книг имеет свой сюжет, своего автора и в известном смысле свой стиль изложения. Но это не мешает восприятию, напротив, поскольку авторы выделяют те аспекты, которые им ближе и интереснее, соответственно, для читателя они становятся более увлекательными. При этом несмотря на различие объектов исследования, структура изложения в целом построена по идентичной схеме — солидный двухсотлетний исторический обзор в географическом, природном, производственном, инфраструктурном, управленческом и социаль-

1. Экспедиция состояла из четырех отрядов. Первый, в который входили сотрудники Института географии РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова (Т. Г. Нефедова, А. И. Трейвиш, Т. Л. Бородина, К. В. Аверкиева, А. Г. Махрова, А. А. Агиречу, А. А. Эпштейн), ехали на машинах по автостраде М-10. Они фиксировали современное социально-экономическое состояние муниципальных образований, дорог, населенных пунктов, изучали перемены, произошедшие на исследуемой территории за два столетия. Второй отряд — из представителей Института природного и культурного наследия им. С. Лихачева (Ю. А. Веденин, С. А. Пчелкин, В. И. Плужников, А. И. Еремеев) изучал сохранность историко-культурного наследия между столицами и перспективы его использования. Третий отряд — Института географии и МГУ (А. Неретин, А. Королёв) передвигался по железной дороге на «перекладных» электричках, изнутри изучая работу и проблемы РЖД на главной транспортной оси. Четвертый отряд состоял из одного человека (О. И. Веденина), проехавшего на машине западное прямого транспортного коридора Петербург — Москва с посещением других городов Тверской и Псковской областей для понимания и описания особенностей более широкой межстоличной зоны.

ном аспектах, включая путь развития, пройденный до сегодняшнего дня, и анализ противоречий современности.

По замыслу авторов, первая книга раскрывает методологию проекта через «общие проблемы и пути развития межстоличья» (Кн. 1, с. 8). В ней речь идет об истории, взаимовлиянии и сопоставлении обеих российских столиц и роли каждой из них на том или ином отрезке исторического времени. В частности, ведется рассказ о том, как перед «младшею столицей померкла старая Москва», как строительство Петербурга «исправляло дефекты ландшафта» (Кн. 1, с. 14), как «новая столица обогнала старую, и они стали расти вместе» и т. п. (Кн. 1, с. 15).

Используя слова Бонапарта, считавшего, что идти на Петербург — значит, целиться в голову России, а на Москву — в ее сердце, авторы показывают преимущества двустоличности России, способствующей и стимулирующей формирование единого пространственного организма страны. Этот организм выдержал революцию и ее последствия, сложности советского периода, жесточайший период Великой Отечественной войны, постсоветские не самые рациональные сдвиги, в том числе приведшие к тому, что «абсолютное лидерство Москвы делает „двустоличность“ постсоветской России весьма условной. Настолько, что это уже вызывает оторопь... Это не отменяет того факта, что межстоличная конкуренция почти исчезла, а она была и, в принципе, остается полезной... Не удивительно, что ее утрата воспринимается болезненно, как проявление дисбаланса» (Кн. 1, с. 24). Недаром граждане современной России с трудом принимают великий Петербург как город «с областной судьбой» (Кн. 1, с. 26). С этой точки зрения актуально звучит лозунг «Измени Россию — начни с Москвы» (Кн. 1, с. 27), вызванный, в частности, тем, что «в общественном мнении сложилось представление о столице как гигантской воронке или „пылесосе“, вытягивающем все ресурсы развития из регионов» (Кн. 1, с. 27).

Авторы ставят вопрос: если перенести столицу из Москвы, станет ли «правительственная» столица более «народной»? И отвечают: «Как показывает опыт предшествующих веков, смена адресов не решает проблему оппозиции «народ и власть», география в этом вопросе бессильна» (Кн. 1, с. 30). (На наш взгляд, точнее было бы в данном случае сказать противостояния «народ и власть».) «Столичную ренту», конечно, можно переориентировать, но если не будет меняться ситуация социально-экономического развития отдельных частей и страны в целом по существу, нового противостояния (новой столицы и старой уже не столицы) не избежать.

Перейдя к анализу общего взгляда на территорию межстоличья в историческом аспекте и отметив, что его ареал к настоящему времени достаточно велик, поскольку охватывает ряд соседних областей, авторы подчеркивают, что само понятие межстоличья становится многомасштабным. Оно одновременно включает внутреннюю периферию, именуемую глубинкой, и заходящие в нее участки столичных пригородов, которым определение «глубинка» слабо подходит. В результате складывается ареал резких контрастов, причем происходит это в лучшей части

Нечерноземной зоны страны. Это не может не накладывать свой отпечаток на исследуемую территорию, в целом отнюдь не самую благоприятную с точки зрения ресурсного обеспечения (в частности, для аграрного развития), но зато весьма благоприятную с точки зрения местоположения. Сюда же примыкает анализ процесса урбанизации в пределах межстоличья, в результате которого делается вывод: «никакой урбанизированной суперструктуры вроде мегаполиса между двумя российскими столицами нет и в обозримом будущем быть не может» (Кн. 1, с. 45). В то же время возникает смещение пространственного развития территории, но в каждом (в московском и петербургском) случае со своими противоречиями. Если «сближение, тем более смыкание пригородов Санкт-Петербурга и Новгорода» почти незаметно, то «совсем другая картина наблюдается в промежутке между Московской и Тверской агломерациями». Здесь реализуется «масштабный градостроительный проект Большое Завидово» (Кн. 1, с. 45) со всеми урбанизационными атрибутами. В Московской агломерации такие же тенденции наблюдаются и в других направлениях. Однако это не исключает того, что при этом везде сохраняются депрессивные территории и города (Кн. 1, с. 49).

Факт депрессивности описываемых территорий, к сожалению, не связывается напрямую с влиянием на анализируемую территорию управленческого фактора. Внимание читателя привлекается к потенциальным возможностям развития конкретных территорий между Санкт-Петербургом и Москвой, в том числе и благодаря реализации инфраструктурных проектов, которые в известном смысле можно трактовать как включение в процесс развития управленческих начал.

По мнению авторов проекта, николаевская чугунка, положившая начало развитию транспортных связей между столицами, только сейчас начала формировать развитую полимагистральность, реально влияющую на социально-экономическое развитие межстоличья, численность и квалификацию его населения. В настоящее время это особенно важно еще и потому, что население формируется за счет мигрантов, «менее квалифицированного нерусского населения» (Кн. 1, с. 55).

Что касается производственного и инфраструктурного развития территории полимагистральности, то оно, как правило, сводится к сугубо примитивному придорожному сервису. В то же время, по мнению исследователей, перспективы развития уже намечаются, по крайней мере, по двум основаниям. «Во-первых, межстоличные природные ландшафты... привлекают массу горожан-дачников, а транспортное положение таково, что свято место пусто не бывает... Во-вторых, здесь сохранилось богатое историко-культурное наследие» (Кн. 1, с. 62), интерес к которому с годами только возрастает.

Транспортному развитию в проекте посвящена глава «История транспортных сообщений между двумя столицами». Подчеркну, что «возникновение Санкт-Петербурга и передача ему столичного статуса изменили прежнюю радиальную структуру сообщений в государстве, которая была приспособлена к системе речных путей, дополняемых гужевыми» (Кн. 1, с. 63). Авторы, выделили четыре этапа развития транспортного сообщения между двумя столицами, последовательно

раскрыв характер, роль, состояние и особенности каждого в историко-географическом аспекте. Речь идет о возможностях водно-гужевого, дорожно-гужевого со времен регулярного почтового и пассажирского сообщения, железнодорожного после постройки Николаевской магистрали, современного интегрального, когда к существующей железнодорожной магистрали добавилась автомагистраль и воздушное сообщение (Кн. 1, с. 64). Технический прогресс развивается настолько быстрыми темпами, что путь из Санкт-Петербурга в Москву, если в наши дни едешь, например, на «Сапсане», уже трудно назвать путешествием: время в пути настолько сжато, что пассажир не успевает стать путешественником.

Испытав условия и возможности работы железнодорожной магистрали как главной транспортной артерии на собственном опыте, авторы проанализировали «пассажиропотоки как в самих электропоездах, так и на крупных станциях — железнодорожных вокзалах и автовокзалах», обсудили «с работниками администраций транспортной отрасли и местными жителями вопросы, связанные с деятельностью железнодорожной магистрали, ее влиянием на развитие территории, на транспортную подвижность местных жителей» (Кн. 1, с. 87).

Обнаружив, что «анализ всех накопленных во время реализации проекта материалов свидетельствует о том, что транспортные условия (в широком смысле этого слова) сильно разнятся от места к месту», исследователи подтвердили это анализом состояния (в историческом аспекте) различных видов транспортных сообщений. Рассмотрены также особенности тарификации на магистрали, состояние транспортно-пересадочных узлов, характер пригородных сообщений, отдельных участков и т. п. (Кн. 1, с. 101 и др.)

Значительное место в первой книге справедливо уделено такой важной теме проекта, как «эволюции сельской местности и сельского хозяйства межстоличья со времен Радищева до наших дней» (Кн. 1, с. 113). В главе, посвященной этим вопросам, дан ретроспективный обзор населения и сельского хозяйства до XX и в XX веке: роль подсобных промыслов; причины коллективизации; массовый переход сельского населения в города, в том числе как бегство от «нового крепостничества»; попытки «смычки» города и деревни путем строительства многоэтажных домов в центральных усадьбах (Кн. 1, с. 121) и т. д.

Все это не могло не отразиться на состоянии сельского хозяйства. Современный переход к рынку усугубил ситуацию отказом от характерных для местных условий сельскохозяйственных производств: потеря производства льна, сокращение поголовья скота и т. п., что наряду с управленческими действиями «властей по объединению поселений (и, соответственно, закрытию школ, клубов, забрасыванию сельских дорог к еще живым населенным пунктам и т. п.) приводит к ускорению оттока местного населения, невозможности приезда туда переселенцев и полной потере социального контроля над большими пространствами староовоенных территорий» (Кн. 1, с. 145).

Глава, посвященная состоянию промышленности в межстоличье на протяжении двух столетий, остроумно названа «Волны промышленного развития». Меж-

столичный регион никогда не выделялся в качестве «единого индустриального района», при этом «полосы или цепочки центров и узлов распались как минимум на две части — Санкт-Петербургскую и Центрально-Московскую» (Кн. 1, с. 146). В результате можно говорить о серии волн, характерных для развития региона в целом и каждой из его частей. По материалам главы в историко-временном аспекте условно можно выделить ряд таких волн, постепенно нарастающих, временами угасающих или пребывающих в состоянии покоя, основанных на природных особенностях, характерных для обеих названных частей региона.

Среди волн выделяются: территориальные — по местоположению и состоянию городов и других населенных мест; производственно-сырьевые — по видам и отраслям промышленного и кустарного развития; социальные — по социально-экономическому положению населения и направлениям его миграции; инфраструктурные — по развитию различных коммуникаций; административные — по характеру принимаемых хозяйственных решений и осуществляемой экономической политике и т. п. Направления и характер этих волн отражают живую картину хозяйственного межстоличья за двести лет с примерами угасания и нового возрождения как различных межстоличных территорий, так и конкретных населенных мест.

Особое место в межстоличье занимает дачный фактор. «Жизнь на два дома (зимой в городе, летом на даче) характерна для России» (Кн. 1, с. 188). У этой российской традиции «давние корни», определяемые во многом российским климатом и связанные с исторической традицией — дворянских усадеб. В конце XIX — начале XX века дачная жизнь становится массовым социальным явлением. Первые дачи возникали на территориях, которые как в Петербурге, так и в Москве оказались затем в черте городов. Были и «дальние дачи» (например, Знаменское-Раёк, на Валдае, в других живописных местах, известны Академические дачи). В СССР значительную роль играли государственные дачи, в постсоветское время многие из них оказались приватизированными. Массовые масштабы развития получили дачи в позднее советское время, став ограниченной размерами участка и площадью домика, но особой формой собственности как «советского культурного феномена» (Кн. 1, с. 195).

Резкую дифференциацию состояния и качества дачных домов и участков в современных условиях можно наблюдать в «зонах летнего „расползания“ Москвы и Петербурга, смыкающихся и пересекающихся на расстоянии более 300 км от каждого центра на юге Псковской и Новгородской областей» (Кн. 1, с. 198). Фактически идет вытеснение сельского населения и сельского образа жизни как такового, притом что плотность сельского населения в глубинке и так очень мала, и только в Московской области она выше, чем в других регионах России.

Соотношение «дачной каторги» на грядках и рекреации зависит, как правило, от состояния экономики страны в целом в определенные периоды и связано с обеспечением населения продуктами и ценами на них. Вместе с тем дачники существенно оживляют и развивают сельские территории, требуя различных видов

своего обслуживания, правда, сегодня зачастую не местными жителями, а мигрантами новых соседних южных государств.

Вывод анализа дачного фактора заключается в том, что «массовое распространение сезонной дачной субурбанизации тормозит реальную субурбанизацию и дезурбанизацию в России, и вся межстоличная территория, „усеянная“ дачниками, тому яркий пример» (Кн. 1, с. 204). Однако представляется, что дачная ситуация все-таки не так однозначна, она развивается, и только время покажет ее реальную роль в развитии межстоличья.

Последняя глава первой книги содержит исторический обзор заметок, дорожников и путеводителей по трассе Москва — Санкт-Петербург, включающий путешествия XVII–XVIII веков («Что увидел А. Н. Радищев», «Записки Уильяма Кокса», «Путешествия Екатерины II», «Дорожник Глушкова»), путешественников первой половины XIX и конца XIX века («Из Полного географического описания нашего отечества»), и, конечно, современные травелоги и путеводители.

Вторая книга «Путешествие из Петербурга в Москву в XXI веке (по итогам экспедиции 2013 года)» начинается главой 1 «„Государева дорога“, ее заселение и обустройство в XVIII–XIX веках», которая является своеобразным введением и предваряет описание конкретных населенных мест по пути из Петербурга в Москву, рассказывая об условиях, в которых пребывал на этой дороге в тот период путешественник, видах транспорта, организации конкретных способов передвижения, установлении расстояний между населенными пунктами, постепенном их благоустройстве и т. п.

Правда, читателя, уже настроившегося на погружение в само путешествие, авторы отвлекают главой 2, в которой ставятся «Основные задачи экспедиции 2013 года» (по существу, методологические вопросы проекта). Понятно, что во второй книге речь пойдет уже о материалах самой экспедиции, но и в первой книге речь шла о «крупномасштабном полевом исследовании общественных географов в наше время» (Кн. 1, с. 5). Неискушенный читатель оказывается в некотором недоумении, возникает желание перенести эту главу в начало повествования, если обе книги позиционируются как двухтомник.

В главах с 3-й по 24-ю описываются конкретные населенные места с краткой исторической справкой и подробным анализом их производственного, социального, транспортного, ландшафтного и культурного состояния. Речь идет об определенном поселенческом статусе, численности населения, основных видах занятости, развитых сферах приложения труда, видах строений и состоянии застройки, характере благоустройства, зон отдыха и т. д. Практически во всех главах второй книги исторические экскурсы преобладают над изложением современного состояния, однако поскольку основными опорными точками маршрута, по заявлениям авторов двухтомника, служили почтовые станции-ямы, перечисленные в книге А. Н. Радищева, такой подход выглядит вполне обоснованным.

Описание современного состояния городов и сельской местности между двумя столицами свидетельствует о принципиальных изменениях, происшедших со вре-

мен Радищева, с начала XX века и за постсоветские годы. Описание базируется на личных наблюдениях авторов, интервью с населением, представителями власти, бизнеса, местной интеллигенцией, что делает его живым и интересным, а также на анализе литературных, статистических и туристических источников, что делает его информативным.

Несмотря на то, что в географических описаниях, как правило, не содержится оценок действующих территориальных управленческих форм, в частности, отдельных муниципальных образований и управления ими, в ряде очерков затрагиваются вопросы влияния сугубо управленческих факторов на состояние этих территорий, например, при сопоставлении двух городов — Осташкова и Торопца.

Осташков оценивается самими горожанами, как «чудо» и «золотое дно» (Кн. 2, с. 311). Однако главным «кормильцем» жителей города является Кожзавод. Произошедшее в связи с развитием местного самоуправления разделение города и района на самостоятельные самоуправляющиеся субъекты привело к тому, что их экономические основы существенно разошлись: бюджет района оказался в 10 раз больше городского. Главным ресурсом города было муниципальное имущество, которое в период массовой приватизации оказалось вне городских объектов. «ОАО „Тверской порт“ приватизировал пристань, специально построенную для развития курортной зоны, и перекрыл свободный проход к воде, прекратив «нерентабельное» пассажирское движение пароходов по Селигеру... Другое „ООО“ приватизировало соседний с пристанью участок с набережной, парком, летним театром и военным мемориалом, обнеся их забором с воротами и надписью „частная собственность“» (Кн. 2, с. 314). Кожевенный завод пережил угрозу банкротства, разного рода скандалы и в целях экономии привлек рабочую силу из Средней Азии, отказав в работе местным жителям. Обострены конфликты между городской и районной администрациями. Одно время в городе царил безвластие. Главный вывод об Осташкове и всех происшедших с ним событиях сводится к тому, что «местное сообщество морально парализовано... При этом вся эта плачевная ситуация упакована в сказочный миф о Селигере» (Кн. 2, с. 316). Остается только надеяться, что этот миф все-таки реализуется.

Глава о малом историческом городе, однотипном с Осташковым, названа «Торопец — доверие и патернализм как ресурсы территориального развития» (Кн. 2, с. 317). Активность населения и заинтересованность власти привели к тому, что в городе при новейших преобразованиях не было конфликта районных и городских властей. Соглашение о разграничении полномочий четко их разделили: «Все задачи политического уровня были переданы в район, а за городом осталось обеспечение повседневной жизни и текущие коммунальные проблемы» (Кн. 2, с. 321). Главой Торопецкого района был избран представитель местного промышленного комплекса, «имеющий ясное видение индустриально-социальной стратегии развития района и города в традициях патернализма». Факторами, определяющими реализацию подобной стратегии, явились, «во-первых, наличие успешного предприятия (желательно нескольких), пополняющего местную казну и обеспечива-

ющего население работой. Во-вторых, контроль расходования средств местного бюджета на социальные нужды, исключающий его разворовывание». В-третьих, подключение к использованию возможностей любых федеральных программ — «от поощрения талантливой молодежи до переселения людей из ветхого жилья» (Кн. 2, с. 321).

«Патерналистская политика позволила Торопцу пережить трудные времена и сохранить свой потенциал». Дальше предстоит «искать альтернативы, инвестируя в городскую среду и поддерживая потенциал саморазвития» (Кн. 2, с. 322).

Участники проекта обследовали более 50 городов и районов Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, включая два областных центра — Новгород и Тверь, по межстоличной трассе и ряд малых городов в стороне от трассы, по каждому из населенных мест сделав выводы о возможных перспективах их развития на основе проектов, продуманных и обоснованных местной властью.

В обе книги включены не только описания исторического и современного состояния населенных мест, городов, транспортных коммуникаций и т. п., но и схемы, фотографии, рисунки. Это не только дает наглядное представление об анализируемых территориях и обследуемых объектах, но и свидетельствует о масштабности проекта и качестве проделанной исполнителями работы.

В последней главе «Проблемы сохранения наследия на историческом пути Санкт-Петербург — Москва» поставлен важнейший для нынешнего этапа социально-экономического развития страны вопрос о том, как распорядиться нашим историко-культурным богатством и при этом сохранить его для потомков. В этой связи главным результатом проекта является практическое предложение авторов об «оформлении исторической дороги Санкт-Петербург — Москва в качестве достопримечательного места и создание на его базе музея-заповедника кластерного типа <...> в него могут войти отдельные музеи-заповедники», расположенные на территории и организованные на различных условиях (Кн. 2, с. 329). Ресурсными базами этих музеев-заповедников могут стать исторические поселения, усадебные ансамбли, действующие и подлежащие реставрации и воссозданию монастыри, сохранившиеся трассы исторических дорог, различные формы использования бывших почтовых станций и т. п. «Таким образом, дорога Санкт-Петербург — Москва и окружающие ее территории могут рассматриваться как совокупный объект культурного и природного наследия. В рамках современного российского законодательства они могут и должны быть отнесены к категории достопримечательных мест» (Кн. 2, с. 338).

Авторами проекта представлена наглядная масштабная картина жизни, хозяйственных возможностей и не выявленных резервов одного из наиболее освоенных территориальных пространств нашей страны, названных «культурным ландшафтом». Сформулированы предложения по дальнейшему развитию хорошо известной территории, что очень важно. Кроме того, ценность проекта заключается в том, что публикация материалов, сделавших их доступными для всех заинтере-

ресованных лиц, открывает возможности научного изучения и разработки предложений по хозяйственному освоению огромных российских просторов, в том числе территорий между разными городами страны.

Journey from St. Petersburg to Moscow. 222 Years Later

Tamara Kuznetsova

Chief Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (RAS)

Address: Nakhimovsky prospect, 32, Moscow, Russian Federation 117418

E-mail: kte@inecon.ru

Review: *Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu: 222 goda spustja. Kn. 1: Dva stoletija rossijskoj istorii mezhdru Moskvoy i Sankt-Peterburgom* [Journey from St. Petersburg to Moscow: 222 years Later, Book 1: Two Centuries of Russian History between Moscow and Saint-Petersburg] (Moscow: Lenand, 2015) edited by Tatiana Nefiodova and Andrey Treivish (in Russian); *Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu: 222 goda spustja. Kn. 2: Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu v XX veke (po itogam jekspedicii 2013 goda)* [Journey from St. Petersburg to Moscow: 222 years Later, Book 2: Journey from St. Petersburg to Moscow in the 20th Century (Following the Results of 2013 Expedition)] (Moscow: Lenand, 2015) edited by Tatiana Nefiodova and Kseniya Averkieva (in Russian)

Наблюдать и участвовать: биография главного русского славянофила

ТЕСЛЯ А. А. (2015). ПОСЛЕДНИЙ ИЗ «ОТЦОВ»: БИОГРАФИЯ ИВАНА АКСАКОВА. СПБ.: ВЛАДИМИР ДАЛЬ. 799 С. ISBN 978-5-93615-156-9

Мария Юрлова

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета
Адрес: наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Российская Федерация 163002
E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

Андрей Тесля известен отечественному читателю по многочисленным публикациям и монографии «Первый русский национализм... и другие», выпущенной в 2014 году издательством «Европа». Речь в ней идет о первом российском национальном проекте — славянофильском, о том, в каких интеллектуальных условиях он формировался, существовало ли единство мнений, или, напротив, можно говорить о нескольких явно конкурирующих проектах. Автор задается вопросом: не были ли политические проекты отголоском метафизических мечтаний о «простом народе», воля которого и есть та сила, что естественным путем породит нацию, и как представления о нации и народе связаны с этничностью, (поли)конфессиональностью и монархией. Так что в некотором смысле «Последний из „отцов“» — это продолжение и развитие темы.

В новой книге Тесли подробно исследуются общественные и политические взгляды Ивана Аксакова — одного из «младших» славянофилов, на фоне почти всех более-менее влиятельных современников. По словам автора, Аксаков не давал славянофильству сделаться «фактом истории», поняв, что оно должно «отзывать» на все вопросы современности... быть не только (и даже не столько) дебатами интеллектуалов, но и полемической позицией <...> [Е]му удалось реализовать намеченное — не дать заглухнуть „живому слову славянофильства“ (и тот факт, что по сей день в публицистике используется „славянофильство“ как обозначение позиции в ряду современных, — во многом результат осуществленного Аксаковым „транзита“)» (с. 10).

Книга Андрея Тесли является ценным источником информации о становлении и развитии взглядов Аксакова, его публицистической деятельности. Некоторые идеи, возможно, уже знакомы читателю по более ранним статьям автора, опубликованным, например, в «Социологическом обозрении», на портале Gifter.ru или

© Юрлова М. Д., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

в «Русском журнале», однако собранные вместе, дополненные теоретическими соображениями, эти идеи обрели нужную цельность.

Шаг за шагом Тесля раскрывает историю становления Ивана Сергеевича Аксакова: студента Училища правоведения, чиновника VI (уголовного) департамента Правительствующего Сената, ревизора, поэта и писателя, редактора «Русской Беседы», редактора и издателя «Дня», «Москвы» и «Москвича», «Руси», председателя Московского Общества взаимного кредита и Славянского комитета. На почти восьмистах страницах излагаются главные идеи и принципиальные позиции И. С. Аксакова, а также основные события его жизни. И хотя в предисловии автор заявляет, что книга не является ни подробной биографией Ивана Аксакова, ни систематическим изложением его взглядов, у читателя складывается целостный образ персонажа и общая картина эпохи, в которой он жил. Фиксируя самые важные события в жизни своего героя, цитируя выдержки из его писем, Тесля прослеживает, как происходящее осмысливается самим Аксаковым, как меняется его взгляд на мир и на свое место в нем. В книге много цитат, некоторые письма приводятся целиком. Тесля поясняет:

«Вдова Аксакова, Анна Федоровна (урожденная Тютчева), писала в предисловии к изданию писем покойного: „Иван Сергеевич иногда говорил, что кто его не знает по письмам, тот его очень мало знает; что он только на бумаге умеет высказываться вполне“ (Аксаков, 1888: 2). А наиболее ценной частью его эпистолярного наследия являются его письма родным 40–50-х гг., времен его молодости и взросления, представляющие своего рода дневник, особенно в 40-х годах, когда, с одной стороны, он большую часть времени проводит вдалеке от дома, а с другой — нуждается в возможности высказаться, поделиться одолевающими его чувствами, мыслями, передать иногда сиюминутное настроение — поскольку близких, родственных его душевному и духовному складу людей вблизи его практически нет» (с. 21–22).

В книге три части: «Годы странствий», «Зрелость» и «Последний из отцов», выстроенных хронологически так, что они охватывают жизнь Аксакова с 1842 по 1886 г. (с момента окончания Училища правоведения и до дня смерти 17 января), прерываясь во второй части «Теоретическим Intermezzo», посвященным учению Ивана Сергеевича об обществе, народе и государстве (включая документальное приложение — запрещенную к публикации статью), а также «польскому» и «украинскому» вопросам и проблеме «Западного края», отношение к которым существенно для его понимания национального проекта. Кроме того, в этой части излагаются взгляды на церковные вопросы как самого Аксакова, так и некоторых славянофилов.

Документальные приложения, составляющие существенную часть книги, по замыслу автора, должны «придать изложению объемность». Для этой цели были выбраны письма Ивана Сергеевича к невесте, Анне Федоровне Тютчевой, и ее сестре, Екатерине Федоровне, а также к М. О. Кояловичу. В этих письмах Аксаков,

с одной стороны, продолжает обсуждать рабочие вопросы и более откровенно, чем в публицистике, проговаривает волнующие его вещи, а с другой (особенно в письмах к невесте) — неожиданно раскрывается в личном, рассказывая о своих переживаниях повседневного, семейного, бытового характера — не переставая, впрочем, тут же их анализировать.

В приложениях представлены неопубликованная статья Аксакова об обществе, народе и государстве; статьи, анализирующие взгляды связанных со славянофильством авторов (М. М. Погодина, А. М. Иванцова-Платонова, О. Ф. Миллера), сюжеты, отклик на которые можно найти в публицистике Аксакова; а также эссе, описывающие формирование концепции русской истории Н. Г. Устрялова и «случай князя А. П. Вяземского». Как пишет Тесля, это позволяет увидеть и проанализировать «ту интеллектуальную площадку, на которой будут формироваться и развиваться взгляды Аксакова» (с. 4), довольно рано осознавшего свои убеждения, но не замыкавшегося в них, а живо реагирующего на происходящее в стране, в мире, в близком интеллектуальном и общественном окружении.

Таким образом, книга может быть прочитана и как интеллектуальная биография Ивана Сергеевича Аксакова, и как очерк общественной, политической, публицистической, а отчасти и интеллектуальной картины эпохи, из которого читатель узнает, какие вопросы поднимались на страницах российской периодической печати второй половины XIX века, какие проблемы обсуждались в московских и петербургских салонах, какой отклик в высшем свете вызывали события внешней и внутренней политики, а также, кто, собственно, «имел свой голос» в их обсуждении.

Тесля пишет, что

«Аксаков был страстным человеком, долго искавшим то, чему смог бы посвятить себя всецело: этим и стало для него „славянофильство“, он сделался хранителем и пропагандистом (и неизбежно — интерпретатором, временами довольно вольным) учения своих родных и друзей (славянофильство... феномен столько же относящийся к истории мысли, сколько и к истории социальной и даже к истории бытовой, — быть славянофилом значило принадлежать, быть „своим“ во вполне определенном „московском“ круге, связанном отношениями родства и свойства)» (с. 6).

В этой фразе, по большому счету, заключены основные темы, которые раскрываются в книге.

Во-первых, Иван Аксаков был человеком сильным, умным, не желающим другим зла, но страстным и увлекающимся. Он с ранней юности желал найти «свое дело», что-то «настоящее», стоящее, чему он мог бы посвятить себя всецело и с радостью, упоенно служить. Сразу после окончания училища он счел таким делом службу, но разочарование пришло довольно быстро, и в дальнейшем отращивание к чиновничьей службе он скрыть не мог. Да и сложно найти человека, настолько неподходящего для этой работы, слишком правдолюбивого, с обостренным

чувством справедливости и чести и при этом вспыльчивого. Неизвестно, сколько времени он «искал бы себя», если бы не смерть отца (в 1859 г.), брата и старшего товарища, А. С. Хомякова (в 1860 г.), когда он осознал себя «хранителем» славянофильского наследия. Это стало делом его жизни.

Во-вторых, Аксаков видел свою задачу не только в том, чтобы сохранить славянофильское учение (это требовало систематизации и издания рукописного наследия), но и в том, чтобы не дать ему превратиться всего лишь в историю, а, напротив, доказать его жизнеспособность и «актуальность». Поскольку при всех своих дарованиях Иван Сергеевич всегда ощущал себя «младшим», почитая старших товарищей как несравненно более значимых, и считал, что он призван сохранить их усилия, такое «хранение» неизбежно предполагало интерпретацию. Описывая зрелого Аксакова, Тесля показывает, как его идейные установки неизбежно трансформировались, хотя сам он осознавал это лишь до некоторой степени. В 1870–1880-х годах Иван Сергеевич оказался в сложном положении: позиционируя славянофильскую программу не только как теоретическую, но и как предлагающую практические проекты, он был вынужден реагировать на события внутренней и внешней политики страны, которые, естественно, не могли быть учтены его старшими товарищами. В это время то, что он представляет как «славянофильский проект», уже во многом выражает его собственные убеждения, зачастую очень расходящиеся с «догматикой». Этот зазор Аксаковым до некоторой степени осознавался и переживался болезненно, но интеллектуальная честность не позволяла ему закрывать глаза на то, в чем его предшественники были не правы.

В-третьих, если в годы юности и молодости Ивана Аксакова быть славянофилом значило быть «своим» во вполне определенном «московском» круге», то с течением времени ситуация меняется, в том числе и усилиями самого Аксакова. Его общественная и публицистическая деятельность вывела славянофильство за пределы небольшого кружка единомышленников, познакомив с ним все слои населения, которые читали газеты и толстые журналы, и во многом сформировала ту самую «общественность», к которой он с самого начала обращался. В 60–80-е годы XIX века общественные комитеты и движения, а также различные периодические издания делали русское образованное общество не бессловесным наблюдателем государственной политики, и если не участником, то как минимум комментатором. И в этом хоре голос Ивана Сергеевича Аксакова слышали все.

Аксаков был одним из тех,

«для кого государство, в котором они жили и которому служили (не только на службе), было „своим“: они, их предки, их родные и друзья были теми, кто управлял империей, воевал, охраняя ее или присоединяя новые губернии, кто спорил о будущем России, вполне сохраняя практическую перспективу, — поскольку они были одними из тех, кто вырабатывал решения, кто мог быть призван на государственную должность, и чье мнение могло быть заслушано Государем. Они были причастны государству, ощущая ответственность за его судьбу не как остальные „подданные“: они были частью

той небольшой группы, следующей сразу же за аристократией, — и даже выбрав отказ от государственной службы, оставались в пределах все того же круга: лиц, лично известных императору, тех, для кого споры о политике империи — это споры между знакомыми» (с. 8).

Он был одним из тех, кто считал, что будущее их страны зависит в том числе и от них, и для кого участие в политической жизни — это привычная реальность.

Во время учебы в Училище правоведения Аксаков воспринял этос честной службы, служения. Он практически идеальный чиновник, все его рвение направлено на службу, на заботу об «общем благе», а государственное дело переживается им как свое, личное. Здесь важно отметить, что у честного человека его круга и положения в те годы почти не было другой сферы для общественной деятельности, кроме государственной службы. Поэтому, когда Аксаков в ней разочаровался, ему довольно долго пришлось искать другое занятие, которое дало бы возможность публично проявить себя. Светская жизнь ему не подходит, кажется пустой и бессмысленной, в письмах к родным он то с горечью, а то и с раздражением пишет о своих сверстниках, которые так бесцельно проводят время. Сам Иван с юности жаждет осмысленного существования, и ради благой цели он готов много и тяжело трудиться. Это качество в сочетании с феноменальной работоспособностью позволило ему многие годы почти единолично руководить газетами, быть и автором, и редактором, и вести финансовые дела.

Насмотревшись на злоупотребления, несправедливости и пренебрежение к закону, разочаровавшись в службе и почти со скандалом выйдя в отставку в 1851 году, Аксаков принимает предложение А. И. Кошелева редактировать «Московский сборник», что дает ему возможность ближе познакомиться со славянофильским учением, «принять» его как свое, то есть осознать себя славянофилом. Когда сборник был запрещен цензурой, а на Аксакова, в числе прочих, были наложены серьезные цензурные ограничения (касающиеся как редакторской работы, так и будущих текстов), он приступает к изучению «истории вопроса», в частности русской истории, чтобы лучше понять основные положения славянофильства и оценить степень его правоты или неправоты. Став славянофилом, он подошел к этому с той же ответственностью, как и ко всему, за что брался, и немедленно принялся находить недостатки и устранять их.

Аксаков был редактором «Русской Беседы», единственного периодического славянофильского издания, работа над которым шла более-менее коллегиально, и после его закрытия писал, что «мы ничего не сделали для успеха» (с. 151). Он имел в виду, что авторы не желали идти на уступки публике: у славянофилов была возможность «говорить своим голосом» и быть услышанными, донести до читателей свои идеи и установить обратную связь, но издание несло на себе отпечаток специфики славянофильского кружка, т. е. ориентированности на тех, кто и так был сторонником движения, что порождало неизбежный эзотеризм и нежелание упрощать тексты и объяснять азы учения. Аксаков осознавал, что «узость круга»

и нежелание работать с публикой приведут к дальнейшей консервации, но из-за цензурных ограничений ничего не мог сделать.

После «трех смертей» — отца, Хомякова и брата Константина — он решил, что делу славянофильства пришел конец: «Теперь для нас наступает время доживанья, воспоминаний, история: самая жизнь кончилась» (с. 162). Тогда-то Иван Сергеевич и обратился в славянофила окончательно, поставив целью жизни сохранить и донести до современников и потомков учение Хомякова и брата. Это решение оказалось самым значимым в деле внесения славянофильства в публичное пространство и обеспечения ему долговременного присутствия в нем. Аксаков не стал лидером движения, но ему удалось «сделать славянофильство фактором общественной жизни, трансформировать славянофильское учение из взглядов небольшого кружка в мировоззренческую позицию, открытую широкому кругу участников» (с. 168). Для этой задачи был необходим собственный печатный орган, причем именно газета, а не журнал, и на ее страницах нужно было излагать не догмы славянофильства, а ответы на текущие социальные и политические проблемы с точки зрения славянофильства. По сути, Аксакову пришлось в одиночку формулировать славянофильскую программу, проговаривая то, что в его кругу считалось само собой разумеющимся. В книге подробно описывается история редакторской деятельности Аксакова и то, как он фактически создавал цельную философскую теорию и общественно-политическую программу из достаточно противоречивого материала: издание «Русской Беседы» наглядно продемонстрировало, что в среде славянофилов не было единства даже по базовым вопросам, что они часто расходились во мнениях не только в деталях, но и в существенных вещах — оставаясь тем не менее идейно ближе друг к другу, чем к противникам. Аксаков проделал огромную работу, и ее описание представляет большой интерес.

Тесля пишет, что история с цензурной полемикой вокруг газеты «Москва» и цензурные мытарства Аксакова зачастую воспринимались знакомыми и публикой как результат сведения личных счетов с Валуевым и Тимашевым. Это доказывает, что «общество», к которому он обращался и на которое стремился опереться, голосом которого хотел быть, еще не сформировано или не осознало себя как некое гражданское единство. Тому, что Иван Сергеевич понимал под «обществом», «народом» и как видел роль государства, посвящена статья из приложения к главе «Теоретическое Intermezzo». Она была заявлена как изложение и продолжение взглядов Константина Аксакова, но в итоге становится изложением вполне либеральной концепции Ивана Аксакова, своеобразного «неполитического либерализма», где важная роль отводится формированию того самого общества, недостаток в котором так остро ощущал автор. Тесля отмечает по этому поводу:

«Фактически Аксаков мог настаивать на „неполитическом“ характере „общества“ в своей интерпретации лишь путем крайнего сужения понятия „политического“, сводя его до „действенной, политически организованной власти“ (Аксаков, 1891: 46) и тем самым формулируя тезис о формировании полити-

ческого и гражданского общества, избегать требований политического характера. Концепция И. С. Аксакова предполагала „нормализацию“ русской истории — как некий „третий“ путь между западничеством и традиционным славянофильским, одинаково акцентировавшим петровский разрыв, лишь расходясь в оценке его и его последствий. Вместо абсолютного противопоставления Допетровской Руси и Петровской России, Аксаков мыслит „петербургский“ период русской истории как диалектическое противоречие, логически необходимую стадию развития — тем самым сближаясь, в частности, с „почвенниками“, группировавшимися вокруг петербургского журнала „Время“, издававшегося братьями Достоевскими (характерно, что после публикации цикла статей об обществе критика „Дня“ на страницах „Времени“ смолкает). В практическом плане трансформация славянофильской доктрины, осуществленная Аксаковым, позволяла явственно выразить и сформулировать, избегая открытого политического конфликта, требования значительной части либеральной общественности. Умеренный либерализм, выступая за предоставление широких прав местному самоуправлению и одновременно поддерживая самодержавие, воспринимая его как силу, противостоящую угрозе аристократического конституционализма, силу, способную проводить масштабные реформы либерального содержания, получил себе в концепции Аксакова достаточно полное выражение, что подтверждается распространенностью славянофильских настроений в земской среде вплоть до революции 1905 г. (см.: Соловьев, 2009; Шелохаев, 2010). В таком качестве статьи Аксакова и были восприняты высшими кругами правительства» (с. 303–304).

Следствием правительственного внимания стал цензурный запрет на публикацию шестой статьи.

Остальные тексты четвертой главы рецензируемой книги представляют собой реконструкцию славянофильских в целом и аксаковских в частности взглядов на национальные, межэтнические, религиозные и конфессиональные проблемы.

В пятой главе Тесля, рассматривая историю с Адресом Московской городской Думы, в котором высказывалась поддержка правительственной политике в отношении Турции, говорит о ситуации, когда правительство не признает существования ни одной силы, которая могла бы выступать от лица всего общества: сделавший это либо воспринимался как узурпатор, не имеющий права на подобные обобщения, либо должен был стать «голосом из хора», поддерживающим правительство. Не должно было быть не только другого мнения, кроме правительственного, но и других способов его озвучивания, кроме указанных и разрешенных. В итоге власть

«оказывается заинтересована в том, чтобы получить общественную поддержку, поскольку нет никого, кто мог бы говорить от имени „общества“ по праву. „Общество“ тем самым оказывается странной реальностью — с одной стороны, делается все, чтобы не допустить возникновения того, кто мог бы говорить от его имени (и тем самым конституировать „общество“ в некую реальность), с другой стороны, власть разговаривает в кризисные моменты

с „обществом“, обращается к нему — не имея возможности предъявить полученные ответы как „голос общества“, вместо него получая лишь коллекцию высказывания частных лиц и корпораций, либо говорящих от своего имени, либо в любой момент могущих быть с полным основанием обвиненными в самозванстве» (с. 456).

Анализируя ситуацию подачи адреса, автор отмечает, что изложенные в нем идеи соответствовали славянофильским представлениям о «Земле» и «Государстве» и были попыткой диалога с властью — неудачной, однако оказавшейся в первой половине 1870-х гг. единственным примером коллективной публичной акции, инициированной славянофилами (с. 460).

В шестой и седьмой главах автор снова демонстрирует, что главный герой действительно был цельной личностью: рано сформировавшись и единожды осознав свое призвание, он и в зрелом возрасте, и в старости действует исходя из того, что однажды счел правильным. Позиция Аксакова по вопросам внешней политики Российской империи 1870–1880-х гг. все еще узнаваема, он все так же несгибаем, верен принципам и все так же борется с пошлостью, фальшью и бездействием общества. За свою жизнь он пережил столько конфликтов с цензурой, карьерных сломов, разочарований, неудач своих проектов, что удивляешься, как у него хватило сил и стойкости, чтобы не озлобиться, не сломаться, а методично продолжать делать то, что он считал правильным. Видимо, это еще одна причина прочесть эту книгу: судьба Ивана Аксакова, рассказанная Андреем Теслием, дает важный пример стоического отношения к жизни, когда, несмотря ни на что, человек исполняет свой долг, не пытаясь переложить его еще на кого-то — а в конце жизни понимая, что и не на кого, — оставаясь при этом человеком, способным воспринимать простые житейские радости и не очерствев душой.

Observe and Participate: The Biography of Leading Russian Slavophile

Maria Yurlova

Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University

Address: Severnaya Dvina Emb., 17, Arkhangelsk, Russian Federation 163002

E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

Review: *Poslednij iz "otcov": biografija Ivana Aksakova* [The Last of "Fathers": A Biography of Ivan Aksakov] (Saint-Petersburg: Vladimir Dal', 2015) by Andrey Teslya (in Russian)

Немецкая энциклопедия инвайронментализма

RADKAU J. (2014). THE AGE OF ECOLOGY: A GLOBAL HISTORY. CAMBRIDGE: POLITY PRESS. 600 P. ISBN 978-0-7456-6216-9

Александр Куракин

Старший преподаватель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
научный сотрудник Центра аграрных исследований при РАНХиГС
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: akurakin@hse.ru

Подзаголовок книги профессора Билефельдского университета Йоахима Радкау весьма претенциозен — «Всемирная история». Это понимает и сам автор, который старается убрать у читателя завышенные ожидания. Слово «всемирный» здесь означает не столько претензию на всеохватность, сколько попытку преодолеть национальную специфику (в данном случае немецкую) экологических дискуссий и не выдавать локальное за глобальное. Несмотря на скромность, Радкау гордо замечает, что до «Века экологии» единственной книгой по инвайронментализму, которая была бы одновременно удобочитаемой и широкой по охвату, является книга индийского автора Рамахандры Гухи «Инвайронментализм: всемирная история»¹, которая, по мнению Радкау, также не лишена серьезных недочетов и перекосов.

На немецком языке книга вышла в 2011 году — накануне, точнее, за две недели до аварии на Фукусимской атомной станции, и попала, что называется, в струю. В Германии она получила широкий резонанс и множество отзывов — как благосклонных, так и критических. Особую популярность приобрели ее финальные фразы: «Мы знаем из истории, что есть такие моменты, когда инерция существующих структур разрушается, и то, что ранее казалось невозможным, неожиданно начинает восприниматься как возможное. Вероятно, что „наилучшее использование истории для жизни“ состоит в том, чтобы настроить свое зрение на исторические события, происходящие здесь и сейчас. Кто знает, может быть, мы скоро будем жить при таком моменте» (р. 431). Последнее предложение много раз цитировалось, и было признано чуть ли не пророческим, к явному неудовольствию автора.

На английский язык книга была переведена в 2014 году. В предисловии к англоязычному изданию автор признается, что множество откликов позволили ему значительно ее переработать, и поэтому англоязычное издание существенно

© Куракин А. А., 2015

© Центр фундаментальной социологии, 2015

1. Guha R. (2000). Environmentalism: A Global History. New York, Longman. На постсоветском пространстве одним из первых социологов, опубликовавших работу на экологическую тему, стала С. П. Баньковская (см.: Баньковская С. П. (1991). Инвайронментальная социология. Рига: Зинатне).

отличается от первого, на немецком. Иными словами, книгу вряд ли можно назвать завершенным произведением, раз автор готов ее переписывать раз за разом. Создается впечатление, что автор, дай ему волю, написал бы еще с десятков томов по истории экологического движения и взаимоотношениям человека и природы. Впрочем, все это говорит также и о том, что у ученого нет какой-либо жесткой теоретической рамки и он относительно свободен и гибок в своих выводах. Но об этом чуть позже.

Книга связана с предыдущими работами автора. Наиболее значительная из них — «Природа и власть», вышедшая в 2000 году на немецком, переведенная на английский в 2008, а на русский — в 2014². По словам Радкау, он рассматривает «Веке экологии» как своего рода продолжение «Природы и власти». Также стоит отметить его книги о немецкой атомной промышленности, которые используются в «Веке экологии»: монографию «Взлет и кризис немецкой атомной отрасли»³, а затем ее расширенную версию в соавторстве с Лотаром Ханом «Взлет и падение немецкой атомной отрасли»⁴.

Таким образом, автор «Века экологии» был уже давно в теме, материал для книги собирал годами. Впечатляет уже библиография⁵. Собранный материал волевым образом необходимо как-то упорядочить, чему могла бы способствовать четкая теоретическая рамка, однако автор однозначно отдает предпочтение богатству материала перед абстрактными построениями. Стремление сохранить многослойность фактического материала приводит к тому, что Радкау намеренно не дает четкого определения экологии, считая, что любое определение сделает это понятие слишком узким для того, чтобы использовать при анализе инвайронменталистского движения.

Действительно, книга — не столько история инвайронментализма вообще, сколько экологического (или инвайронменталистского) движения. Первая глава как раз и разводит два этих феномена, рассказывая об инвайронментализме до какого бы то ни было экологического движения. Иными словами, инвайронментализм лишь со временем оформился в движение, т. е. приобрел социальную форму. Здесь Радкау позиционирует свою книгу относительно двух противоборствующих классиков: Н. Лумана⁶ и Ю. Хабермаса⁷. Радкау встает на сторону последнего, хотя

2. Радкау Й. (2014). *Природа и власть: всемирная история окружающей среды* / Пер. с нем. Н. Штильмарк под ред. А. Ямскова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

3. Radkau J. (1983). *Aufstieg und Krise der Deutschen Atomwirtschaft, 1945-1975: Verdrängte Alternativen in der Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse*. Reinbek: Rowohlt.

4. Radkau J., Hahn L. (2013). *Aufstieg und Fall der Deutschen Atomwirtschaft*. München: Oekom-Verlag. Заметим, что Радкау может быть интересен социологам как автор биографии Макса Вебера: Radkau J. (2009). *Max Weber: A Biography*. Cambridge: Polity Press.

5. Стоит сказать, что, учитывая фундаментальный (или даже энциклопедический) характер книги, оформление ссылок в виде концевых сносок и отсутствие списка литературы, на наш взгляд, является не очень удачным решением.

6. Luhmann N. (1986). *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?* Opladen: Westdeutscher Verlag.

7. Хабермас Ю. (2000). *Моральное сознание и коммуникативное действие* / Пер. с нем. С. В. Шачина под ред. Д. В. Складнева. СПб.: Наука.

и довольно скептически относится к утверждению, что коммуникация как таковая — это уже действие. Мысль Лумана о том, что призывы экологов, в силу их глобальной направленности, не могут быть услышаны ни одной из подсистем, обладающих «локальным» слухом, Радкау считает несостоятельной. Во-первых, экологическое движение все более профессионализируется и прекрасно проникает в самые разные подсистемы общества. Во-вторых, Радкау на собственном примере провел множество «экологических коммуникаций», на его взгляд, вполне успешных. Наконец, он замечает, что «нельзя априори или раз и навсегда определить, в какой степени реальность соответствует Луману или Хабермасу» (р. 3). Как говорится, «вскрытие (в виде исторического исследования) покажет».

Инвайронментализм оказывается также неуловимым и в виде социального движения. Как объединить под одной крышей бесконечное количество локальных инициатив, возникающих вне всяких прямых связей друг с другом и направленных порой на совершенно разные цели? Ради этого разнообразия Радкау не ограничивает себя рамками академических определений социального движения и ориентируется на то, «каким образом те или иные темы перетекают границы социальных групп, мест и стран, комбинируются с другими темами и рождают новые» (р. 3). Радкау утверждает, что экологическое движение не обладает системной логикой и «не может быть понято, пока не будут приняты во внимание живые люди» (р. 4). Например, один подраздел книги полностью посвящен описанию деятельности десяти представительниц (очень разных!) экологического движения со всеми их успехами, неудачами и противоречиями. И здесь Радкау выступает оппонентом социологического структурализма, представляя эти биографии в противовес утверждению П. Бурдьё о «биографической иллюзии». «Невозможно понять социальные движения, если абстрагироваться от того, что ими движет, если просто рассматривать их как примеры общих моделей, с их неизбежной схематизацией. Мобильность движений нужно представлять в виде историй. То, что такой подход часто представляет лишь отдельные аспекты, оставляя пространственно-временные пробелы, понимает любой, кто когда-либо сталкивался с подобным материалом» (р. 4).

В предисловии к английскому изданию автор отмечает, что перед началом работы над книгой у него не было какой-либо теоретической рамки или генерального тезиса. Тем не менее в процессе работы у него сложились три суждения, которые он решил сформулировать:

1. Экологическое движение по своей природе глобально и имеет черты «нового просвещения» (термин, который автор одно время хотел сделать названием книги). Несмотря на это, экологические проблемы и способы их разрешения имеют региональную специфику и требуют дифференцированного подхода. Иными словами, глобальное видение проблемы сочетается с локальными рецептами оздоровления⁸.

8. Это отсылка к популярному и растиражированному слогану экологов: «Думай глобально, действуй локально».

2. Результаты экологического движения и природоохранной деятельности следует рассматривать в долгосрочной перспективе. Немедленного экологического мероприятия, как правило, не дают, а ожидания быстрых результатов порождают критику всего движения как бессмысленного, фарсового мероприятия.

3. Экологическое движение базируется на рациональных основаниях и не является лишь панической реакцией на экологические катастрофы, поэтому его можно назвать новым, «зеленым» просвещением. По крайней мере, автор ставит рациональные соображения во главу угла своего исследования, хотя прекрасно осознает, что помимо рациональных аргументов в экологическом движении, подобно Просвещению XVIII века, присутствуют духовные, мистические мотивы. В то же время он подчеркивает, что индивидуальные усилия различных экологических активистов сходятся именно на рациональном, а не на мистическом уровне.

Пересказывать содержание этой книги — бессмысленная затея. Это не статья, содержащая краткий тезис, а объемное (431 страница, не считая примечаний) произведение, выполненное в форме интеллектуального путешествия. Однако какую-то структуру обрисовать все-таки следует, чтобы понимать, с каким текстом мы имеем дело. Книга построена хронологически, как и подобает тексту, написанному историком. В ней представлена периодизация, разбитая на три кластера. Первый кластер охватывает предысторию экологического движения: с 1875 года, когда в Великобритании был принят закон об утилизации мусора в городах, по 1914 год, когда в Швейцарии был образован первый в Европе национальный парк. Второй кластер (с 1965 по 1972 год) охватывает экологическую революцию 1970-х гг. Третий (с чернобыльской аварии 1986 по 1992 год) знаменует собой новый «исторический поворот» в экологическом движении.

Введение к книге «Зеленый» хамелеон указывает на разнородность экологического движения и его трудноуловимый характер для всякой концептуализации, заключение же «Диалектика „зеленого“ просвещения» как бы замыкает повествование, представляя эту разнородность в виде диалектики. Здесь Радкау проводит прямые параллели с работой Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Диалектика просвещения»¹⁰. Немецкие классики показывают, как Просвещение, стремясь к освобождению, производит собственные механизмы принуждения, собственные мифы и превращает разум в инструмент доминирования. Экопросвещение содержит собственную диалектику: с одной стороны, экологическое движение продолжает процесс расколдовывания мира, заложенный старым Просвещением, развенчивает идею прогресса, столь дорогую для Просвещения XVIII века¹¹; с другой стороны, экологи сами создают почву для новых колдовских чар (на сей раз зеленого цвета). Эти чары в виде экологической повестки дня в политическом поле

9. Другой вариант — экопросвещения (Green Enlightenment).

10. Хоркхаймер М., Адорно Т. (1997). Диалектика просвещения: философские фрагменты / Пер. с нем. М. Кузнецова. М., СПб.: Медиум, Ювента.

11. Об идее прогресса в общественных науках см.: Давыдов Ю. Н. (1997). Введение: Исторический горизонт теоретической социологии // История теоретической социологии. Т. 1. М.: Канон. С. 7–27; Шанин Т. (1999). Идея прогресса // Неформальная экономика: Россия и мир. М.: Логос. С. 525–531.

неизбежно вовлекают экологов в политические игры. Если не само экологическое движение, то порожденные им идеи могут существенно переформатировать как внутреннюю, так и международную политику. Например, осознание конечности ресурсов на планете может обострить борьбу за них, желание застолбить их впрок. Здесь возникает новое противоречие. Добиться своих целей порой невозможно, если не идти путем «от движения к управлению» (from movement to government), но этот путь содержит риски вырождения, бюрократизации, профанации, разочарования масс и т. п. Наконец, под угрозой находится и единство экологического движения, которое вполне может развалиться на отдельные конкурирующие друг с другом направления. Например, сторонники альтернативных источников энергии, приветствующие биотопливо, и сторонники биоразнообразия, озабоченные тем, что поля засеиваются ограниченным набором культур, из которых производится биотопливо. Радкау видит пользу исторических штудий экологического движения именно в том, чтобы показать пространственно-временную укорененность многих экологических вопросов, а также напомнить прошлые дебаты, актуальные сегодня, но забытые даже в среде экологов.

Итак, «Век экологии» — это не стройное теоретическое произведение, полемизирующее с альтернативными теоретическими схемами. Однако это и не голое перечисление фактов и событий в хронологическом порядке. Трудно сказать, насколько прорывной может оказаться эта книга для специалистов по истории инвайронментализма, но для начинающих исследователей этот объемный труд, безусловно, послужит прекрасной отправной точкой и ориентиром в безбрежном море литературы по предмету.

German Encyclopedia of Environmentalism

Alexander Kurakin

Senior Lecturer, Department of Sociology, National Research University Higher School of Economics
Research Fellow, Center for Agrarian Studies, Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: akurakin@hse.ru

Review: *The Age of Ecology: A Global History* (Cambridge: Polity Press, 2014) by Joachim Radkau.